

The background of the cover is a dramatic, dark blue and black illustration of a stormy sea. In the foreground, a small, dark boat is visible, struggling against the turbulent waves. The overall mood is one of danger and survival.

Виктор Балдоржиев

Горизонты разных лет

Рассказы

18+

Виктор Балдоржиев

Горизонты разных лет.

Сборник рассказов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34709841

SelfPub; 2018

ISBN 978-5-5321-1788-4

Аннотация

В некоторых странах нет земли, но есть сельское хозяйство. У других нет людей, техники, но есть сельское хозяйство. А у нас есть все: земля, люди, предприятия сельхозтехники, рынки – внутренний и внешний. Нет одного – радостной работы, нет сельского хозяйства. Это означает только одно – власти жизнь страны и народа неинтересна и не нужна. А нам? Мне кажется, что за всю свою историю мы ещё не пробовали работать и жить по-настоящему, так жить, чтобы открывать бесконечные горизонты... Автор.

Содержание

Горизонты разных лет	5
Бедняки и богачи	6
Летающий к горизонту	11
В долине Борзянки	15
ЗАКЛИНАНИЕ ОБОРОТНЯ	20
ТОСКА	29
Иван Грозный и инженер-полковник Тренчик	46
Мой брат Петька...	52
1.	52
2.	57
О том, как Ваську съели	61
Как зеки учились стихи писать	64
В мастерских	73
Гохуа	73
Кони Гефеста	78
Сизифов камень	85
Кэгэбэшник	88
Вилы	94
Китаец	98
Монгол из Маньчжурии. Или «Далеко пошёл!»	105
Розовые варежки	109
Дикий абрикос	114
Парторг и старуха	115

Контра и бандитка	120
Сквозь дрёму	124
Время не меняется	129
Кто на кого похож	134
Кто я?	138
Владыки умов	143
Об авторе:	147

Горизонты разных лет

В некоторых странах нет земли, но есть сельское хозяйство. У других нет людей, техники, но есть сельское хозяйство. А у нас есть все: земля, люди, предприятия сельхозтехники, рынки – внутренний и внешний. Нет одного – радостной работы, нет сельского хозяйства. Это означает только одно – власти жизнь страны и народа неинтересна и не нужна. А нам?

Мне кажется, что за всю свою историю мы ещё не пробовали работать и жить по-настоящему, так жить, чтобы открывать бесконечные горизонты...

Автор.

Бедняки и богачи

В 2007 году на 476 километров трассы Чита-Забайкальск, которая выходит напрямиком на МАПП (многосторонний автомобильный пункт перехода) в Китай, в голой степи я купил маленькую закусочную для того, чтобы содержать бригаду, которая занималась созданием архитектурно-скульптурного комплекса в память о предках, утверждавших восточные рубежи России. Это было дешевле, чем жить бригадой в гостинице. Люди думали, что я собрался обираловкой заняться, но как всегда ошиблись. У меня были другие задачи, хотя, попутно, мы зарабатывали, кормя всех, кто заезжал к нам. Мимо шла единственная колея железной дороги, по которой непрерывно шли составы, увозя в Китай всё, что можно распилить и увезти из России, но чаще всего это был лес или металлолом. Обратные платформы шли пустые. Думаю, что и сейчас они идут пустые...

Это как раз те места, где «по долинам и по взгорьям...» Рядом была историческая Атаманская сопка, в километрах трёх – станция Мацевской, где были ветхие дореволюционные бараки, в которых жили вихрастые русские ребятишки со своими родителями. Почему я начал с ребятишек?

В один из летних дней я сидел в нашей забегаловке и уви-

дел в окно, что по ковыльной степи к нам бредёт мальчик, таща велосипед. Вот он скрылся в ложбинке, поднялся. Вдруг возле высоких белеющих ковылей его велосипед развалился наполовину. Я вышел на крыльцо и стал ждать.

Мальчик добрался до нас, сказал, что отец его умирает с похмелья и отправил его к нам за пивом, сигаретами и хлебом. Наши девчата из кухни набили его пакет всякой снедью, он выгреб из карманов какую мелочь. Вихрастый, русоволосый с желтизной, в старых штанах и стоптанных сандалиях, он смотрел на меня не по-детски строгими глазами, собираясь прощаться.

У меня неровно забилося сердце, и я предложил подвезти его. Он достойно согласился. Мы сели в мой минивэн «Toyota Noah». У высоких ковылей остановились и загрузили в багажник его велосипед. Меня поразил год выпуска – 1961. Видимо, был в аварии, а сломался по старой сварке.

Возле барака толпа ребятишек окружила машину:

– Ни фига себе, Коляха!

– Крутой, дружбан.

– Ничего, батя очухается и сварит заново велик...

– Да его давно пора сдать на металлолом,

– Вместе с батей...

– Ты чо, дурак? А кто варить будет велик?

Мы разгрузили половинки его велосипеда, который сварит чей-то батя, видимо, сварщик. И я с щемящим сердцем поехал обратно. Долго стоял на переезде, выжидая, когда

пройдёт состав, везущий в Китай настоящий кедр. Много кедра. Его вывозили уже с месяц... Попадались платформы с металлоломом, откуда торчали остовы кроватей, велосипедов, ванн, тазов...

Поздней осенью того же года дул пронизывающий ветер. В нашу тёплую забегаловку ввалились два закоченевших, худых на вид, подростка в старых солдатских бушлатах. Встали у двери, робко озираясь, опьяневшие от вкусных запахов кухни.

– Откуда идёте, бойцы? – спросил я.

– Из Дд-даурии, – ответил заикаясь один из них.

– Всё время?

– А как иначе? Всё время, когда трассой, когда степью...

До Даурии было 30 километров. Это старинная станция, где уцелели казармы ещё царской армии и забайкальских казаков, где в гражданскую войну базировалась дикая дивизия барона Унгерна.

– Кирпич ломали. Казармы уже который год разбирают.

– Зарабатываете так?

– А как иначе? Но сегодня хозяин выгнал нас. Ленивые говорит.

Какая-то душная волна откуда-то издалека подкатила к моему горлу. Я отвернулся и спросил:

– После школы учиться собираетесь?

– Деньги же нужны...

Мы поставили у границы памятник в 2008 году. Через два года я переехал из города в село, но два этих случая из моей жизни у границы Китая остались в памяти. В последние годы замечаю, что по селу ходят подростки с топорами. Просят колоть дрова. В прошлом году за машину дрова они брали 1500 рублей, теперь, наверное, 2000.

Они убираются во дворах, хлевах, колют дрова, делают любую работу. Внук мой, приезжая на каникулы, вливается в какую-то бригаду сверстников, приходит поздно и гордо объявляет, что они работали у тех-то или у тех-то и заработали деньги. Я видел эти жалкие деньги, на которые можно купить только сахарную вату или китайские безделушки одnodневки. Этим ребятам никто не даст такого образования ни в школе, ни в других заведениях, которое могло бы соперничать с людьми других государств и обеспечивать самих себя. Мир чистогана поглотит их жизнь.

Думая обо всех этих детях, я вспоминаю себя в их возрасте. Начиная с 6-7 лет, меня отправляли на сенокос, где мальчики моего возраста таскали на конях волокуши с копнами, повзрослев, садились на конные грабли, далее – на косилку.

Сельские работы – настоящий Здоровый Образ Жизни.

Хорошо помню свою первую заработную плату в 1961 или 1962 году – 40 рублей и воз сена. Я обеспечил половину зимы своей домашней скотине! Потом мы работали на стрижке

овец. Осенью 1968 году меня отправили в пионерский лагерь «Орлёнок», где я вдохновенно читал Пушкина и Лермонтова. А в пути я угощал всех городских сверстников: ведь у меня было 200 рублей своих денег! В то лето я заработал 356 рублей, на следующее – 424, потом – 600. Мотоцикл купил на свои деньги.

Деньги нам платил колхоз. В совхозах или на фабриках тоже иногда работали дети, им платило государство.

И в любой институт я мог поступить бесплатно.

Давно я не был на 476 километре трассы в Китай. Но знаю, что составы с лесом и всем, что можно вывезти из Russia идут непрерывно. Много и много лет. Выросли дети на Мациевской и в Даурии, Читинскую область переименовали в Забайкальский край, миновали и снова грянули кризисы. А из Russia всё вывозят и вывозят...

Был я и в Китае. Видел воочию мощь и красоту. Человек никогда и ничего не узнает, пока у него не будет сравнения.

Просто я не вижу государства, но знаю о ворах и грабителях, которые называют эту территорию Russia.

Летящий к горизонту

Помню летящий по степи тяжёлый мотоцикл с коляской, мелькающую вдоль обочин высокую траву и бегущую рядом со мной, смеющимся в коляске, высунув алый язык остроухую овчарку. Через много лет отец объяснил: 1957 год, мне два с половиной года, мотоцикл «Ирбит», собака – Пальма. Мы переезжаем на колхозную культбазу у речки Борзя.

Мнение среды: если ребёнок до шести лет не научился к самостоятельности, то дальше будет только обузой другим. Сейчас даже трудно представить, что шестилетний ребёнок может не только ездить или скакать на коне, но и зарабатывать.

Отчётливо помню лето 1961 года...

Мы стоим большой бригадой на сухом участке долины Борзи, в просторечии – Борзянки. Здесь, можно сказать, – родильный дом реки Онон, её среднее течение, вся рыба в этом месте заворачивает сюда, выходя нереститься на заливы. Вокруг – океанские волны трав, попеременно с мерцающей водой, откуда мужики часто приносят здоровенных сазанов.

Мы – сенокосная бригада. Я и мой друг Сашка – на волокуше. Таскаем копны. Живём с подростками в шалаше. По-

одаль пасутся кони.

На рассвете меня аккуратно будит кто-то из взрослых. Выхожу из шалаша, бегу в травы и сразу становлюсь мокрым от росы. От реки плывут и клубятся белёсые туманы, сквозь ключья их пробиваются первые лучи рассветного солнца. Вся долина озарена алым и бронзовым сиянием. И кони в тумане тоже алые, отсвечивают золотистой и мягкой пылью. Они удивленно поднимают большие головы и стоят в ожидании мужиков и меня, идущих по траве к ним, чтобы снять с них тренogi и зауздать. Я всегда увязываюсь за взрослыми и первым бегу к своим коням.

Потом кто-то из парней посадит меня на моего старого и белого мерина в рыжих пятнах. Мы скачем в лучах солнца в бригаду. Наспех завтракаем и впрягаемся в работу.

Жизнь здесь размеренная, ритмичная и привычная. Подростки помогут мне и Сашке впрячь коней, протянуть от их хомутов длинные постромки к волокушам. И мы до обеда подтаскиваем душистые копны к зародам, которые ставят сверкающими вилами мужики.

На обед не спеша едем или скачем на своих конях к бригадному стану.

Через несколько лет, уже подростком, я обучал вместе со взрослыми диких коней. Но привыкал к этой жёсткой и дикой забаве там, на Борзянке, ещё шестилетним. А ведь мог погибнуть под копытами...

Однажды вечером сельские парни, недавно пришедшие из армии, поймали длинным икрюком жеребёнка, который ходил в бригадном табуне вместе с матерью. Закрутили петлю и, подтянув его ближе, прижали за уши к земле, надели узду. Жеребёнок отчаянно пытался вырваться из рук крепких парней. Один из них оглядел нас, окруживших схватку, и крикнул:

– Кто смелый?

Конечно, смелым оказался наш дурак, то есть я.

Парни посадили меня на жеребёнка, вручили поводья узды, и разом отпрянули в стороны. И понёс меня ошалевший от испуга жеребёнок в долину Борзянки. И небо, и залив, и дальние сопки – всё смешалось и завертелось вместе с брызгами воды перед глазами. И разом померкло. А ещё через мгновенье, сквозь пелену тёплой воды, я увидел мчащегося к горизонту с победно задранным хвостом жеребёнка. Он сбросил меня в залив!

А парней гонял кнутом по степи, сурово распекал и грозил судом старый колхозный бригадир. Ведь малец мог убиться...

На следующий год мы пошли в школу. Потом полетели дни, месяцы, годы... Но до сего дня помню себя, шестилетнего, свой первый сенокос, свою первую зарплату (нам зачитывали!), своих первых коней. Иногда вижу во сне летящего к горизонту жеребёнка из колхозного табуна...

Уехав отсюда в юности, через много лет почувствовав приближение старости, я вернулся обратно. Напарник, мой Сашка почему-то оказался в Израиле, остальные сверстники – в разных городах и весях России.

О слове и речке Борзя могу рассказывать долго. Это у самой монгольской границы. Больше нигде такого названия не встречал. На самом деле слово означает обрусевшее название рода Чингисхана – Бооржа, Боржигин. Здесь всюду – Борзя, одних только речек, наверное, до десяти, город Борзя, село Боржигантай. Принадлежащий боржигинам, места боржигинов. В современной Монголии, а также в других, кроме наших, местах России таких названий нет. На всех картах зарождения монгольской империи регион среднего течения Онона и Борзи обозначен, как место сосредоточение боржигинов и родственных им племён, откуда они начали расширение своих владений.

Возможно, что название распространилось вместе со своими обладателями по всему миру, и теперь видоизменено и обозначается с разными приставками типа эль, иль, юрт и т. д. и т. п. Бордж, Борж, Бурдж, Барж, а то и Бордж, Борджа, или же слово изменено не узнаваемости.

Для нас она осталась Борзянкой.

В долине Борзянки

В четырнадцать лет я уже считался вполне взрослым и самостоятельным человеком, то есть – добытчиком и кормильцем. 50 овец за смену остригал, не шутка! На ВДНХ грозилась везти, народу показывать... Но пока увозили на сенокос, который начинался после стрижки овец.

Любые работы в селе – дело обычное. У нас заведено так: если ребёнок до пять-шести лет не понял, что надо помогать взрослым, то так и останется на всю жизнь бесполезным паразитом.

В любом селе или колхозе все работы от сезона до сезона. В нашем колхозе было более 70 000 тысяч взрослых овец, с ягнятами переваливало за 100 000. Стрижка начиналась в середине июня. В каждом колхозе был свой стригальный пункт, где во время стрижки все гремело, звенело, кричало и блеяло круглосуточно. Тишина наступала примерно через месяц.

Начинали готовиться к сенокосу. Дети села разъезжались по чабанским стоянкам. В одно время отец увозил меня к дедушке Начину, где собирались его внуки, мои друзья и погодки.

Стоянка находилась на пологой сопке у речки Борзя, правого притока Онона, которую мы называли Борзянкой. В се-

редине 1960-х годов это была довольно шустрая и полноводная речка. Перейти или переплыть Борзянку можно было в три-четыре взмаха: от берега до берега не более 6-7 метров, но местами попадались глубокие ямы, где отдыхали налимы.

Изгибаясь и отблёскивая серебром на поворотах, Борзянка бежала с Кукульбейских гор по плодородной долине между пологими забайкальскими сопками. Плодородной она была в смысле травы, которая в долине росла всегда. Кроме травы, там была ещё и рыба в заливах. Особенно в половодье, когда вся долина заполнялась водой и являла золотистое и подрагивающее над водой марево.

На нерест шёл сазан. Златопёрый он или серебристый не помню, да и не видел давно сазана из Борзянки. Но помню, что он был на удивление крупный. Торпеда, а не рыба!

Обилие рыбы объясняется просто: Борзянка – родильный дом Онона. Вся рыба Онона стремится в эту долину. Ночью долина становилась светящимся множеством огней городом: народ лучил и колол рыбу. Медленные огни в центре заливов – браконьеры с фонарями и острогами, мечущиеся лихорадочно по склону сопки, то есть по дорогам, фары – милиция и рыбнадзор. Браконьеров так много, что охранники флоры и фауны в растерянности и не знают кого, как и в какую очередь ловить.

Налетало на Борзянку всё военное и промышленное Забайкалье.

Бог с ней, промышленностью, её и тогда было мало, а сейчас и вовсе нет, но Забайкалье без военных – пустыня. С довоенных лет и после войны в наших степях побывали, наверное, все маршалы и генералы страны. Казалось, что здесь служит весь Советский Союз. Особенно в грозящем Китаею городе Борзя на берегу Борзянки.

Огни в долине затухали только с началом пальбы. Милиция и рыбнадзор стреляли в воздух и предупреждали в рупоры и громкоговорители, что мирная рыбалка может перерасти в никому ненужную трагедию.

Но такое многолюдье и веселье случалось только в июне, когда в колхозе всюду звенела стрижка. Естественно, появиться на речке мы могли только ночью.

Ко времени сенокоса нерест заканчивался, хотя в заливах рыба всё ещё плескалась, а браконьеры не спешили покидать речку.

Весёлый майор из Шерловой Горы, часто бывавший на Борзянке, подарил мне сеть-трехстенку. Нитка была прочнейшей. Но каждый раз вместе с пойманной рыбой и порванной в лохмотья сетью, я вытаскивал застрявших в ячейках раздувшихся ондатров. Старуха дедушка Начина была довольна: шкурки ондатров я отдавал ей, а тушки скармливал собакам. На стоянке их было два – маленькая Чапа непонятной породы и овчарка Казбек.

В шесть утра, когда солнце уже было над дальней сопкой,

поёживаясь от холода, я нетерпеливо сбегал к речке и уже у берега чувствовал, что верёвка туго натянута, а по воде идёт рябь. А потом целый день чинил порванную ондатрами сеть.

Сенокос ещё не начался, взрослые ремонтировали инструменты и технику, никто и ни в чём мне не препятствовал: ведь я кормил нашу маленькую бригаду: иногда притаскивал уток, чаще – рыбу.

Охотничьего азарта у меня нет и не было. Но природа зовёт каждого – озеро, речка, высокие камыши и травы. Обилие рыбы и живности. И мы носились вдоль Борзянки с моим Казбеком, иногда переплывали речку, но чаще рыбачили или охотились на своём берегу.

После середины лета уровень воды в долине и реке становился меньше.

В августе по всей долине выросли зароды сена. Оставляя свои забавы и я, впрягался вместе со взрослыми в работу. Трудились все. Ничего не делающего человека в нашей среде просто не могло быть.

Малолетки – на конных волокушах, подростки – на конных граблях, постарше – на конной сенокосилке, а физически крепкие – мётчики зародов.

Иногда перед рассветом я успевал сбегать на Утиное озеро или вытащить поставленную на речке сеть. В некоторые дни взрослые сами гнали меня и Казбека на охоту, о которой я иногда начисто забывал, залюбовавшись на Утинном озере

рассветом.

Онемевший от нежного ликования и весь залитый розоватыми лучами восходящего солнца перед самым прилётом стремительных чирков, я забывал в эти минуты о себе и, тем более, о ружье.

Вернулся на Борзянку я через сорок с лишним лет. Земляки мне сказали, что вода в речке появляется только местами, рыба из Онана не заходит. Ондатра исчезла вся. Сазан забыл свой роддом. Люди давно не видели гусей и уток. В степи уже двадцать лет длится засуха...

А когда появился Skape, возник в мониторе друг моего детства Витя Добрынин, который всю жизнь проработал в Кемерово шахтёром.

– Отправь мне фотографии с Борзянки! – просил он в монитор.

– Приезжай, да съезди сам! – отвечал я ему, боясь говорить правду.

Он не приехал, может быть, ему отправили фотографии другие...

Теперь каждое лето я стараюсь побывать на Борзянке. Вода в русле появляется, иногда – много. Говорят, что речка прибывает с каждым годом.

Буду ждать и ворожить большую воду воспоминаниями о детстве.

ЗАКЛИНАНИЕ ОБОРОТНЯ

Лейтенант Иван Черкасов прошел через всю войну, видел много смертей, не любил писателей и военных песен. С русокой женой Наташей и изумрудным немецким аккордеоном он пересек в эшелоне просторы страны, прибыл в кузове полуторки на маленькую заставу у монгольской границы, поселился в угловой комнате бревенчатой казармы и за восемь лет дослужился до капитана. Вокруг была степь, степь и степь, куда из красноярских лагерей возвращались уцелевшие ламы.

Ветер гнал золотистые ковыльные волны и развевал черный чуб смуглолицего капитана, который в голубой майке сидел на ступеньке крыльца казармы и, перебирая перламутровые клавиши аккордеона, напевал в тоскливой тишине:

На зеленом лугу мы сидели,

Целовала Наташа меня...

На загорелых и мускулистых плечах розовели зажившие рубцы, а в глубине черных глаз плескалась печаль. Солдаты любили капитана, капитан любил свою жену Наташу, которая еще совсем недавно выходила из комнаты в легком белом платье и носила в блестящем ведре воду из колодца. Но она недавно умерла.

Беда пришла неожиданно. Черкасов охотился вместе со

своим другом, деревенским учителем-бурятом Азаровым. Учитель играл вечерами на скрипке, а очарованный капитан слушал удивительную музыку, рассказывающую о степи. На тархтящем мотоцикле учителя они мчались в клубящейся пыли мимо стремительного стада дзеренов, и Черкасов, белозубо смеясь и не целясь, стрелял в мечущееся живое мессиво. Он убил трех маток и вернулся с Азаровым на заставу лунной ночью, чтобы отправить на телеге наряд за добычей. На крыльце штаба заставы вспыхивали красные огоньки сигарок. Охотников встретили испуганные и бледные лица солдат. В окне комнаты капитана мерцал желтый свет керосиновой лампы и металась тень в пилотке, видимо, дневального...

- Наталья Павловна умирает! - дрожащим шепотом сообщил высокий и худой Гайнутдинов, старшина заставы.

- Боря, в больницу! - крикнул ошалевший Черкасов, лихорадочно открывая дверь казармы.

Мотоцикл взревел и подпрыгнул. Рассекая белым лучом ночь, Азаров помчался по влажным травам в районный центр... Уставший, он вернулся утром с молоденьким доктором. Закрыв лицо ладонями, оцепеневший Черкасов сидел на табурете и даже не повернулся на стук двери. Наташа умерла.

- Сердце, - глухо сказал доктор Азарову, садясь на высокое заднее сиденье зеленого мотоцикла.

После похорон жизнь на заставе замерла. Черкасов окаме-

нел и онемел. Белый стужок солнца плавился в знойном небе и опалял высокие тополя вокруг штаба и казармы, шифер и побелевшие гимнастерки солдат. Воздух струился. Только над сухими травами иногда взмывали жирные желтоватые тарбаганы и, лениво пересвистываясь, удивленно всматривались в даль, где в знойном мареве бледно голубела и подрагивала монгольская степь.

Только через месяц Черкасов услышал скрипку Азарова. Тогда он снова тронул клавиши аккордеона и вспомнил забытую мелодию, смеющееся лицо жены, но от этого тоска не таяла, а становилась острее.

Ночью капитан проснулся от торопливого и знакомого стука каблуков. Шла жена. Обрадованный, он проснулся и сел на кровать, собираясь закурить. Но рука его вдруг замерла над коробком спичек. Наташа умерла, ее нет! Шаги приближались. В каптерке испуганно вскрикнул Гайнутдинов, тоненько и плаксиво заверещал кто-то из солдат. Неожиданно в комнате запахло плесенью и стало холодно. А неистовая луна заливала смятую постель капитана брызжащим и зеленоватым сиянием. Черкасов сходил с ума.

Заскрипела и медленно открылась дверь. Капитан отшатнулся к стене и вскрикнул: в проеме двери, в белом платье, стояла Наташа с ниспадавшей на грудь распущенной косой. Но знакомое лицо было чужим и мертвым. Она долго смотрела на обезумевшего мужа, потом медленно пошла по холодному полу длинной и узкой казармы мимо оцепеневших

солдат, стоявших у своих кроватей в белых рубашках и кальсонах. Тягуче открылась дверь, белое платье выплыло в ночь и растворилось в лунном сиянии.

- Товарищ капитан, товарищ капитан, - испуганно зашептал очнувшийся Гайнутдинов, - это была ведьма... ведьма... Татары знают ведьму... Надо к бурятам ехать, это их земля, они тоже знают ведьму...

Постаревший Черкасов нетвердыми шагами вышел из комнаты к солдатам.

В черные волосы смуглого капитана вплелась седина. Застава потеряла покой. Знакомая и чужая Наташа в белом платье приходила в казарму каждую ночь и исчезала с рассветом. А однажды старшина Гайнутдинов сказал капитану, что слышал как она перебирает бумаги в канцелярии штаба.

Рано утром, оседлав высокого вороного, Черкасов отправился в деревеньку, избы которой были рассыпаны по берегу маленькой речки. Высоко вскидывая голову, вороной шел резвой рысью. Из труб серых юрт в небо поднимался дымок, лениво таяли лохматые чабанские собаки, у подножий сопок паслись овцы и жирные дрофы, а в болотистых низинах поднимали из высокой травы остроклювые головы цапли. Плавно и грузно пролетали над всадником журавли. Черкасов повеселел и вспоминал свое детство в донской степи, цыгановатые лица родных и знакомых людей.

Во всех юртах и в деревеньке уже знали, что по ночам на заставу приходит умершая жена капитана, которая при жиз-

ни была как белый цветок в зеленой степи.

- Ваня, это не твоя Наташа, это - оборотень! - сказал, сверкнув глазами, скуластый Азаров.

Его жена, веселая и черноглазая Дулма, испуганно вскрикнула и уставилась на поседевшего Черкасова, который выжидательно смотрел на Азарова. Капитан не верил ни в бога, ни в черта.

- Надо ехать к заклинателю, мы его называем жодчи, - продолжал уже спокойнее учитель, пододвигая другу зеленую кружку с крепким и забеленным чаем. - Сейчас много лам освободили из лагерей. Жди, вечером я привезу на заставу Гылыг-ламу, он - заклинатель.

- Боря, а этот... лама убьет... оборотня? - неуверенно спросил Черкасов осипшим голосом.

- Не убьет, а только прогонит, - невозмутимо ответил учитель.

- Он наш друг и очень хороший человек, - добавила Дулма, ловко разделывая маленьким ножом жирную тушку тарбагана. Черкасов часто приезжал к учителю и был в этом доме своим человеком. Наташа дружила с Дулмой и тоже ела тарбаганье мясо. Они привыкли к степи и знали, что мясо и жир тарбагана очень полезны для здоровья. Коммунист Черкасов искренне дружил с охотником- учителем, который часто приезжал на заставу и играл на своей знаменитой скрипке. Но раньше капитан ни за что бы не поверил, что Азаров верит в оборотней, ведьм и знает ся с ламами.

Пылающий розовый круг солнца повис над дальней сопкой, от тополей легли длинные тени, и степь розово заголубела, когда Черкасов услышал далекое тарахтенье и увидел показавшийся в степи мотоцикл с двумя седоками. Что-то громко и весело крикнул Гайнутдинов, засуетились солдаты и понесли из столовой в казарму коротконогий столик, который надо было поставить для заклинателя.

Лама был лыс, мускулист и одет в русскую одежду. У него была овальная голова с выпуклым теменем и приятное светлое лицо. Живые и черные глаза разом охватывали и степь, и заставу, и людей. Азаров нес за ним желтый кожаный чемодан.

Заложив руки за спину и чуть сутулясь, лама ходил из угла в угол казармы и раздумывал. Черкасов вдруг отметил про себя, что так ходят заключенные и солдаты из штрафного батальона.

- Гылыг-лама пятнадцать лет жил в красноярских лагерях и вернулся в степь, - негромко рассказывал Азаров, когда капитан вышел на крыльцо казармы. - Помнишь, Ваня, у меня был гнойный нарыв ниже колена? Гылыг-лама нашел в степи белый камешек и обвел им вокруг нарыва. А ночью весь гной и вытек.

Видимо, учитель уважал ламу и радовался его освобождению и появлению в степи. Черкасов наклонился к нему и спросил:

- Твой друг – лама может уничтожить привидение?

- Человек напрасно думает, что может убить то, что не им создано. У всякого создания есть свой творец. Мы не можем уничтожить то, что существует. Но мы вполне можем договориться с ним или запретить ему мешать людям, - вдруг на чистом русском языке сказал лама, выходя из казармы.

- Мне кажется, что в монгольском языке нет слова - лечить, - добавил Азаров, - вместо этого мы говорим - заклинать.

В сумерках лама с Гайнутдиновым возжег благовония. Сизый слоистый дым и ароматные запахи трав поплыли по казарме. Солдаты повеселели и столпились у дверей капертки, где жил старшина. Черкасов с Азаровым остались в комнате капитана. Лама открыл желтый чемодан и облачился в диковинную красно-желтую одежду, с прицепленными бубенчиками и развевающимися кистями. Потом он быстро нахлобучил на голову высокую и круто изогнутую желтую шапку, с ниспадавшей на лицо черной шерстяной накидкой. На столике, поставленном у самого входа, заклинатель разложил много вещей: продолговатую книгу, обернутую красным шелком, два больших бубна, огромную белую раковину, короткую трубчатую кость с прорезями и бронзовый колокольчик.

- Лампу зажигать не надо, - глухо сказал он из-под накидки, повернувшись к старшине и признавая в нем сообщника.

Ночь выдалась безлунной и темной. Липкий страх снова стал вползать в казарму. Но вдруг послышался громкий и

утробный голос ламы, потом несколько раз прогремели бубны, тонко зазвенел колокольчик, и вдруг призывно зарокотала раковина. Черкасов вздрогнул и перед его глазами возник берег Балтийского моря: соленые, пенные волны с шумом набегали на песок и раскачивали трупы немецких солдат, женщин и детей... Вдруг на капитана навалилась тяжелая дрема, но громкие и грозные выкрики ламы не прекращались. Черкасов потерял счет времени. Очнувшись на мгновение, он вдруг услышал знакомый и страшный скрип двери. Кто-то пытался открыть снаружи дверь и не мог. Смутный и грузный контур ламы высоко подпрыгивал перед дверью, звенели бубенчики на одежде. Лама размахивал руками и что-то страшно выкрикивал в экстазе, чувствовалось, что он изнемогает, а дверь вот-вот распахнется. Вдруг тонко и пронзительно остро завывла костяная труба, скрип прекратился, и дверь захлопнулась.

Черкасов провалился в сон... Русокошая и веселая Наташа бежала по зеленому лугу, потом капитан увидел себя с винтовкой в руке и высоко прыгнувшую в смертельном полете матку дзерена. Поседевший капитан плакал и смеялся во сне.

Утром разбудил его Азаров, и он услышал веселый смех старшины Гайнутдинова. Капитан сразу подумал, что пора отправлять на границу наряд и вышел из комнаты. Солнечные лучи окрасили в теплый бронзовый цвет стены и крыльцо казармы. Под стрехой крыши красногрудые ласточ-

ки, вцепившись коготками в края ажурных глиняных гнезд, весело переговаривались и кормили птенцов. Гылыг-лама в русской одежде стоял под тополями и оживленно разговаривал с солдатами. Капитан снова почувствовал волнующие и призывные запахи утренней степи и услышал курлыкание журавлей...

Через три дня после заклинания оборотня Черкасов выехал на охоту с Азаровым. Тарахтел по зеленой степи мотоцикл, взмывали над травами тарбаганы, из-за спин охотников выглядывали поблескивающие стволы винтовок. Обогнув пологую сопку, друзья увидели летящее по заголубевшей полуденной степи стадо дзеренов. Мотоцикл резко остановился, Азаров с Черкасовым спрыгнули на землю.

- Достану! - азартно крикнул Азаров и вскинул увесистую винтовку. Но поседевший капитан вдруг тоскливо и умоляюще прошептал:

- Не надо, Боря, не стреляй...

6 июня 1999 года. г. Чита.

ТОСКА

Какие короткие ночи серебрят кункурскую степь! Не успеет прокуковать беспокойная кукушка свою песню, как розовеет восток, и медленно алеют стволы березок перед тремя юртами. А папа встает еще раньше. Цыпылма слышит, как позванивают стремяна, уздечки, шумно вздыхают за стеной юрты коровы и овцы. Она знает, что овец летом надо пасти по холодку, тогда они до полуденного зноя успеют наесться сочной травы.

- Ночью опять выли волки, - тихо говорит отец матери. Он беспокоится за верблюдов, которые с верблюжатами уходят далеко от стойбища. Цыпылма катается зимой на самом большом верблюде! Летом все живут сыто. Это очень плохой признак, если воют сытые волки. Но что ж, надо вставать, дел у Цыпылмы много...

Как быстро пролетает день! Только что было утро, но вот уже подкрался вечер. А сколько событий произошло за это время, сколько дел Цыпылма успела переделать, день промелькнул какими-то шумными и пестрыми обрывками!

И вот уже поскрипывает телега, груженная прутьями тальника. Степь пахнет ая-гангой,¹ дыханием овец и кобыльим

¹ Ая-ганга – белая полынь и богородская трава.

молоком. Цыпылма взрослая, ей десять лет. Она задумчиво едет по степи и посматривает по сторонам, где в голубоватой дымке купаются вершины сопки, редкие сосны, а из чернеющих зарослей кустарника возвышаются стайки белых берез... Да, Цыпылма уже взрослая, теперь ее редко выпроваживают старшие во время разговоров и пересудов, а папа не подкидывает высоко, как сестренку.

Поскрипывает телега, пофыркивает конь. Цыпылма посматривает по сторонам. Теперь все посматривают и прислушиваются. Бандитов боятся. Они разные. Есть красные бандиты, есть - белые. Эти русские. Есть бандиты буряты. Все они говорят, что будет хорошая жизнь. Но дедушка Содном сказал, что с бандитами никакой жизни не бывает, что хорошие они или плохие, но все равно бандиты... И откуда их так много появилось в степи?

Днем дети играли. Взрослые маленькое облачко пыли заметят в степи и волнуются, а детям лишь бы играть. Еще утром Цыпылма снова была маленькой, веселилась со всеми ребятишками стойбища. Там были толстые мальчишки Боро, Сада и Митыпка, румяные плаксы Хубушка и Даримка, кругленькая сестренка Цыпылмы, хохотушка Бутидка, которую все зовут Мячиком. Все говорят, что Цыпылма в отца, она остроглазая, узколикая, нос у нее с горбинкой. А Бутидка - в мать, округлая, плотная и резвая. Цыпылма смуглолицая, а Бутидка белолицая. Лицо сестренки в крапинках, похоже на яйцо жаворонка, круглое и доброе. Как кункурская

степь, смеется папа... Пестрая ватага ребятишек носилась по песчаным оврагам, вокруг юрт, телег, стаек и мухуликов.² Сначала они бегали просто так, потом устали и решили играть в прятки, причем Мячик находилась сразу: она не могла долго усидеть на одном месте, то безудержно хохотала, то неожиданно пыталась куда-то катиться! Потом ватага разделилась на волков и тарбаганов. Боро и Сада вывернули ягнячьи шапки-малгаи и стали страшными оскаленными волками, а Митыпка с девочками сразу превратились в толстых и жирных тарбаган и их детенышей-мундулят. Они азартно носились от черты до черты, но все равно попадались в пасти, то есть в руки, волков - Боро и Сада. А Бутидка звонко, взвизгивая и подвзвизгивая, смеялась и резво катилась мимо хищников и ни разу не попалась! Буйно поднималась пыль, мелькали смеющиеся смуглые рожицы, косички, малгаи и халаты. Цыпылма совсем забыла, что она взрослая... Потом все ходили к дяде Намжилу - играть в лодыжки-альчики. У них в кожаном мешке тысяча и даже больше альчиков. Только взрослые могут пересчитать! Сначала дети просто играли в щелчки, когда щелкают, стреляя в одинаково упавшие альчики, ведь каждый альчик может встать конем, коровой, козой, овцой или верблюдом. Но вдруг, в середине игры, старший, Боро, смешал все альчики и начал строить

² Стайка -хлев (диалект.). Ононские буряты обычно плели хлев из ивовых прутьев и наглухо обмазывали коровьим пометом и глиной. Мухулик – деревянный короб на повозке для хранения имущества, иногда обшитый железом.

длинный конный ряд.

- В скачки будем играть! - засмеялся младший, румянощекий Митыпка. Все стали выбирать себе коней.

Сколько раз выбранный альчик встанет конем, столько раз и можно будет передвинуть своего коня вдоль ряда. Цыпылма выбрала крашеного, коричневого, коня. У него были отполированные и ровные “ноги”, он мог бы обогнать всех, но тут ее позвал отец, прискакавший попить чаю или арсу. Она вспомнила, что договаривалась с отцом пасти овец, что уже взрослая и побежала запрягать в телегу настоящего коня...

- Ты, Нима, посматривай, - говорил отцу дедушка Содном, покуривая черную трубку, украшенную серебром. - В Цаган Челутае, говорят, бандиты людей убили, много скота отобрали... Ой-ёё-ёё, как дальше жить? Красные, белые...

Перед глазами Цыпылмы начинали мелькать то красные, то белые оскаленные рожи, каждая с горящими тремя глазами и множеством рук и ног, как на картинках в дацане, где она была однажды с отцом. Тогда мама сшила ей красивый зеленый халат и круглую острроверхую шапочку с малиновыми кистями.

Они живут в юрте вчетвером: папа, мама, Цыпылма и Мячик-Бутидка, которая уже просится вместе с отцом и Цыпылмой пасти овец. Она и сегодня вот-вот готова была разреветься, но отец погладил ее по голове, поднял на руки и рассмеялся:

- Вот какая у меня большая и круглая дочка-мячик. Мы с

Цыпылмой поедем пасти овец и готовить дрова. А кто будет помогать маме, а?

И хохотушка Бутидка осталась помогать маме, хотя сразу побежала в юрту дяди Намжила, где ребяташки продолжали играть в альчики. Интересно, чей конь обогнал всех?

В полдень, когда овцы от жары сбились в кучу, отец нарубил прутья тальника, ближе к вечеру они погнали овец к стойбищу. По пути видели свой скот. У них пять коней, четыре верблюда, десять коров и семь десятков овец. Люди говорят, что они живут хорошо потому, что Нима работающий и славный человек. Отец Цыпылмы не пьет архи, не играет в карты и не любит таких людей. Он даже не разговаривает с ними, хотя их очень много. Цыпылма видит, что папа работает без отдыха, а когда его русский знакомый сказал, что бывают выходные дни, Нима долго смеялся. Вечерами он играет с дочками, катает на спине Бутидку, рассказывает сказки, иногда что-нибудь мастерит, чаще делает узды, вожжи. А Цыпылма с мамой выделывают овчины, вяжут волосяные веревки из конской гривы. Только Бутидка пока ничего не делает. Однажды Бутидка-Мячик сказала по большому секрету Цыпылме, что папа у них самый-самый сильный. А Цыпылма сказала Бутидке, что папа у них самый-самый умный, самый-самый добрый, самый-самый... Только она не сказала, что у них будет братишка, об этом мама говорила папе. Тогда папа взлетел в седло и долго скакал на соловом по степи и смеялся... Они все любят папу и слушаются его.

Телега старая, скрипит и повизгивает. На ней еще бабушка Цыпылмы ездила. Овцы не спеша пощипывают траву и идут домой. Они жирные, вон какие у них курдюки! А ягнята почти догоняют маток, большелобые и толстые. Вокруг - песчаные овраги. От закатных лучей солнца сейчас пески лиловые. И Цыпылма, конечно, вся лиловая в своем стареньком халате. А если появятся бандиты, никто не узнает - красные они или белые, все будут лиловыми!

Цыпылма смеется и снова всматривается в дали, потом оглядывается и видит отца, едущего на откормленном гнедом коне с белой звездочкой на лбу. Отец едет за овцами, улыбается Цыпылме и трогает длинной ургой отставшую овцу. Лицо у него матово-смуглое, острое, нос тонкий и с горбинкой. Сейчас отец - бронзовый, как единственный божок в их юрте, перед которым они зажигают лампаду и кладут еду. Там давно лежат четыре конфеты в красивых обертках. Бутидка-мячик часто уговаривает Цыпылму съесть их, потому что божок все равно ничего не ест, а конфеты станут твердыми. Но Цыпылма знает, что отдавший что-нибудь должен забыть об этом, а взявший - помнить. Так говорит папа. Конфеты они отдали...

Едет Цыпылма, думает. Хорошо ей от закатных лучей и степных запахов! Почему утром всегда шумно и весело, а вечером спокойно и тихо? Она давно не задает отцу вопросов, он и без того устает. А на вопросы должен отвечать сам человек, говорит дедушка Содном. Если кто-то будет отве-

чать за него, то человек привыкнет и обленится. Цыпылма об этом знает и Бутидке сказала. Она задает много вопросов и может облениться!

Снова и снова Цыпылма всматривается в дали. Как хорошо быть человеком и жить на земле! Величавые и пышные чертоги белых туч окрасили багровые и алые отсветы степного заката, запылавшего почти в полнеба, отчего острые верхушки зеленых трав залило ровным розовым сиянием с тонкими золотящимися полосами, где рой за роем мелькали комары и мошкара. В чистом зеркале озера, украсившем впадину, отражались небесные пожары, которые разрезали быстрые тени скользящих над водой птиц и утиные выводки, оставляющие за собой волнистый темный след. В такие тишайшие вечера все в природе прозревает и чувствует свое бессмертие, вбирая в себя редкий миг единства и мира!

Вот и дымом запахло, совсем немного осталось до стойбища.

Едет Цыпылма, посматривает по сторонам. Вокруг - ровная, лиловая и голубоватая даль, тишина... Оглянулась, а к ней отец подъезжает и виновато улыбается. Наклонился с коня, понюхал голову дочки, погладил шершавой мозолистой рукой. Хорошо стало Цыпылме!

- Вот какая у меня взрослая дочка! - ласково сказал отец, и голос его дрогнул. - Видишь, во-он там пыль поднимается? - Он показал тонкой ургой на север. - Это, доченька, войско какое-то движется за Ножи-нуром. Ты, доченька, гони овец

в овраги возле стойбища, а я посмотрю, что это за люди едут.

Где пыль? Ага, во-он там! Надо же, проглядела Цыпылма, хотя глаз не отрывала от горизонта. А отец заметил давно и молчал, надеялся, что пыль далеко стороной обойдет их стойбище.

- Аба,³ может быть, не надо смотреть? - насторожилась и подняла голову Цыпылма, но, встретившись с взглядом отца, замолчала. В карих и добрых глазах отца плескалась тревога, хотя сам он улыбался.

- Нет, доченька, надо посмотреть. Я один мужчина на стойбище.

Отец снова нагнулся, понюхал голову поникшей дочери, потом развернул коня и поскакал, крикнув:

- Прячьте овец и скот в оврагах! Не зажигайте огня...

И сразу тяжелая, не умирающая, тоска возникла в степном воздухе и не испарялась. Цыпылма вскрикнула, приподнялась и погнала коня... Да, конечно, отец пока единственный мужчина, не считая дедушку Соднома и мальчиков дяди Намжила. Дядя Лхамажап и дядя Намжил год назад подрядились со своими верблюдами в караван, который ходит с товарами до китайского города Бежин.⁴ А зимой они возят товары по Амуру. Отец хотел идти с ними на заработки, но из трех мужчин один должен был остаться на стойбище.

Тоска сжала сердце. Теперь телега визжала и была готова

³ Аба – отец, папа.

⁴ Бежин – Пекин.

развалиться, а Цыпылма даже не замечала наивных степных птиц, пытающихся заманить ее подальше от своих гнезд. Она быстро гнала овец, собирая их в кучу. Первыми к ней выбежали, услышав крики, маленький Митыпка и резвая Бутидка. За ними показались дедушка Содном, женщины, потом мальчики и девочки-плаксы.

- Гоните скот и овец в овраги! Кажется, бандиты скачут! - кричала Цыпылма, подъезжая к стойбищу, где чадили дымокуры. Поднялся переполох. Замычали коровы, заблеяли овцы. Носились лохматые собаки.

- Где отец? - тревожно крикнула мать. Она была уже на пегом коне. Круглое лицо ее вспотело, глаза блестели, в них плясал страх. Цыпылма посмотрела на мать и внезапно ей стало страшно. Никогда ей не было так страшно, даже когда рассказывали самые жуткие истории о чертях-шутхурах или шолмосах-оборотнях. Вокруг ребятишки и женщины гнали овец, что-то говорил мальчикам дедушка Содном. Мать смотрела на Цыпылму и ждала.

- Там пыль, - залепетала Цыпылма. - Какие-то люди едут. Аба остался, сказал, что ему надо посмотреть... Он придет...

Мать тревожно взглянула в сумеречную степь, хлестнула коня и погнала коров и овец к большому оврагу, где буйно рос кустарник... На стойбище оставили десятка два овец и двух коров, с остальным скотом в оврагах ночевали мальчики и дедушка Содном, который вытащил откуда-то старень-

кое ружье.

Сначала из-за туч выплыла красная луна, потом она стала бледнеть, небо вокруг нее стало густо-синим и зеленоватым. Луна медленно становилась оранжевой, окунулась в тучу и выплыла уже серебряной, льющей на теплую степь серебристо-белый свет. Матовой белизной вспыхнули стволы березок, блеснуло озеро и по нему протянулась яркая лунная дорожка. Тонкой позолотой отсвечивали гривы коней, стоящих на берегу озера.

Бутидка-Мячик не дождалась папы, набегалась и крепко уснула. Цыпылма сидела возле матери на телеге и смотрела в лунную степь. Вечность напомнила о себе, было тихо. Отец не возвращался. Вдруг прибежал от оврагов взбудораженный, разгоряченный, Боро. Глаза его блестели.

- Мы слушали землю! - выпалил он при лунном сиянии.
- Много коней скакало в степи. Они где-то недалеко остановились...

Ночь, равная кукованию кукушки, показалась годом. Отец не возвращался. Пора бы ему посмотреть и узнать, что это за люди были! На рассвете за сопками выли волки...

- Ты поспи, доченька! - уговаривала мать Цыпылму, собираясь доить коров. Но Цыпылма давно дремала, сидя на телеге. Вдруг откуда-то снова появился шустрый Боро и возбужденно закричал:

- Там много-много людей на конях и с ружьями. Тысяча!
- Где, где? - заволновались собравшиеся женщины. Солн-

це только поднималось над степью, и опять были раскрашены люди, облака, пески и трава. Снова все люди стойбища скучились у телег. Размазывая грязь по румяным щекам, заревели спросонья плаксы, Хубушка и Даримка. А Бутидка-мячик потянулась и заявила:

- Наш папа самый-самый сильный! Он всех бандитов победит!

На нее зашикала мать. Послышался топот копыт, и все оцепенели. Прямо к их юртам скакали около десятка всадников. Гривы коней и одежды людей развевались от быстрой скачки.

- Там, в пади, много-много людей с ружьями, на бричках у них самые толстые ружья, - зашептал Боро, смотря на приближающихся людей в пестрых одеждах.

Передний был весь в коже - тужурка, штаны, сапоги; остальные - в гимнастерках и френчах, на некоторых были бурятские тэрлики-халаты и кушаки.

- Русские! - выдохнула жена дяди Намжила.

- Папин конь! Папин конь! - вдруг закричала, показывая маленьким пальчиком, Бутидка-мячик. Но мать крепко закрыла ей рукой рот и шлепнула по заду. Женщины заволновались. Гнедой, с белой звездочкой на лбу, конь Нимы под бурятским седлом, без седока, скакал, развевая гриву и поднимая голову, привязанный к высокому вороному, рядом с хищным всадником в казачьей рубахе и шароварах с желтыми лампасами.

Цыпылма громко вскрикнула, но мать гневно сверкнула глазами и твердо прошептала:

- Чтобы ни случилось - мы не знаем ни этого коня, ни его хозяина. Поняли?..

Залаяли и тут же трусливо поджали хвосты собаки, засветили плети. Запахло конским потом, зазвенели стремяна и оружие. Вокруг телеги загарцевали кони. Все люди были с винтовками, наганами и саблями. Среди них мелькнуло бурятское лицо молодого парня. Его подозвал к себе чернобородый человек в кожаной одежде и что-то громко сказал, показывая рукой на людей и юрты.

- Русский начальник спрашивает: чей это конь? - спросил молодой бурят, кивнув головой в сторону загнанного гнедого Нимы и пытаясь дать глазами какой-то знак. Все молчали.

- Чей конь? - снова спросил бурят, оглядывая толпу.

- Мы не знаем, в первый раз видим! - крикнула мать Цыпылмы, вся освещенная желтыми лучами утреннего солнца. Одна из женщин повела упирающихся девчонок в юрту, но Хубушка и Даримка страшно запротестовали и разревелись, и женщина оставила их. Бутидка-Мячик звонко засмеялась. Всадники развеселились.

- Не знаете? - снова заговорил бурят, пристально смотря в глаза матери Цыпылмы. - Знайте... он лежит раненный в овраге... Молчите... Молчите...

Потом он повернулся к чернобородому начальнику и заговорил по-русски, смеясь и часто повторяя: "Не знай... они

не знай...” Цыпылма вцепилась в руку матери, мать вся дрожала и оглядывала всадников, гнедого коня мужа, молодого бурята.

- Русский начальник говорит, что вы бедно живете. Но скоро будете жить хорошо, - громко сказал молодой бурят, поправляя за спиной винтовку. - Русский начальник просит десять овец.

- Пусть берет! - закричали женщины, показывая на оставленных у стаек и юрт овец. - Пусть берет и уходит. Пусть уходит...

Бурят снова что-то сказал чернобородому, тот рассмеялся, обнажив кривые желтые зубы. Всадники погнали овец к озеру. Но тут из оврага выбежал Хотчо, огромный желтый кобель дяди Лхамажапа, катавший на себе всех ребятишек стойбища. Собака страшно зарычала, оскалилась и бросилась на всадников, защищая овец, которых пасла и охраняла всю жизнь. Чернобородый выдернул из деревянной кобуры длинный маузер и выстрелил три раза. Хотчо взвизгнул и упал, закрутившись на земле, не в силах понять людских поступков. Снова заплакали дети.

- Русский начальник говорит - спасибо. Он дает расписку за баран. Он говорит, что скоро все будут жить хорошо! - крикнул, отъезжая, молодой бурят и снова посмотрел на мать Цыпылмы. - Торопитесь, он там...

Всадники скрылись, стало тихо. Но тоска сгустилась, стала острее и не исчезала, как и появившийся в степном воз-

духе запах отцовского пота. Тоска вошла в людей, сжала их сердца и не отпускала.

- Доченька, дои коров, - устало сказала мать окаменевшей Цыпылме, а сама стала запрягать в телегу коня, женщины стали ей помогать. Вдруг заплакала никогда не плакавшая хохотушка Бутидка-мячик. Пришел с мальчиками из оврагов дедушка Содном. Они поволокли куда-то мертвого Хотчо, за ними бежали, плача, Хубушка и Даримка. Женщины молчали.

Потянулся тоскливый день. Вечером снова окрасились небо, облака, пески и трава лиловыми и оранжевыми цветами. Когда показалась телега, все побежали навстречу. Но мать приехала одна. Отца не было.

Она не нашла его и на второй день, и на третий... Бутидка перестала звонко смеяться. Ребятишки в стойбище не играли. Цыпылма пасла овец и остро видела все вокруг, особенно наивных степных птиц, пытавших увести ее подальше от своих гнезд. Мать все продолжала ездить, она теперь молчала целыми днями, только гладила дочерей шершавыми ладонями по черноволосым головам. Мать окаменела.

Однажды утром она не стала запрягать коня в телегу, а просто оседлала пегого и выехала в степь. Вернулась она поздно ночью, когда луна серебрила степь. Бутидка крепко спала. Цыпылма встретила мать и при лунном сиянии увидела блеснувшие на смуглом лице матери слезы. Девочка прижалась к стремяни и беззвучно заплакала. Всем телом и всей

душой! Так они стояли под луной: мать на коне и девочка, прижавшаяся к блестящему стремям. Мать гладила по голове вздрагивающую Цыпылму. Сама она оплакала мужа одна, в степи, слезы ее омочили траву и ушли в землю. Какой тоскливой была эта лунная ночь, равная кукованию кукушки! Больше никто не видел слез матери и дочери.

С тех пор тоска никогда не покидала Цыпылму. Она помогала матери, пасла овец, доила коров, иногда играла с ребятами. Она завидовала хохотушке Бутидке-мячик, которая была слишком маленькой для того, чтобы тоска добралась до ее сердца. Жизнь продолжалась, но все было не так как раньше, при отце.

В степи много наивных птиц, пытающихся увести врагов от своих гнезд. Степь пахнет ая-гангой, дыханием овец, кобылым молоком. В короткие лунные ночи острее становится запах отцовского пота...

Апрель 1998 года. Новая Заря..

Вторая половина

XX

век

а

. Где эти люди сейчас?

– Сколько бухаешь, Вовка?

– Как всегда: пятница, суббота, воскресенье прихватил. А

ты?

– Дай вспомню... Так это когда же я с армии-то пришёл? 1974 мы в леспромхозе пробухали, потом год – на подсобных дурака валяли, полгода на курсах учился, а дальше – армия... Да, в 1978 и пришёл.

– Сколько бухаешь, спрашиваю?

– Я и говорю, как с армии пришёл. Получается – 1978, 1979, 1980 и дальше, не просыхая.

– Ты чо, пустырник пил?

– Да нет, чумуру какую-то.

– Стёкла чистят? А запах от неё?

– Кипяток в ванную, туда пачку стирального порошка с хвойным экстрактом и ложись. Запах!

– Нее-ее «Красную Москву» даже не предлагай, хоть и запах хороший, но от неё глаза портятся.

– А «Шипр»?

– Вот эту наливай, на глаза не влияет.

– «Тройной»?

– «Тройной» – лучше всех. Водки не надо.

– Может быть, «Каберне» возьмём или «Варну»?

– Ты чо, дурак. Да «Каберне» и «Абрау-Дюрсо» только заборы красить, а с «Варны» ссать как лошадь. Лучше мозуху тяпнуть.

– Вот это самогончик, вот это бормотуха, бражкой перекрыть и – готов!

– Хорошо пошла?

– Обещала вернуться.

– Так я ж в бражку и махорку добавляю.

– Пороху не пробовал?

– Пробовал. А ещё этого, мужик-то с палкой стоит.

– «Памир» что ли? Вот дурак, такую дорогую вещь портишь.

– Наценка, говорят, будет. Не 3 рубля 62 копейки за водку, а 4.12...

– Андроп гайки закрутил – уже некуда!

– Ну не гады, совсем задушили народ... Хлеб в прошлом году был 16 копеек, а в этом 18, теперь и водку наценят.

– Мой пьяным-пьяным пришёл, хоть выжимай.

– А чо мне начальство? Я не завяла и они не расцвяли...

– Чо это у вас пальцы, как суставчики? Коров говорите доили?

– Из этих суставчиков ишо ни одна нетель не вырвалась!

– Каво опять убили?

Где эта вольная жизнь и где эти вольные люди? Конечно, были, были и другие разговоры на бесконечно разные темы. В числе их и эти.

Иван Грозный и инженер-полковник Тренчик

Написал я этот рассказ, прочитав осенью 2017 года в новостях о том, что ВАК не лишил министра культуры России учёного звания, которого, по мнению знатоков, он не заслуживает. Надо было лишать или нет, не знаю. Что думают об этом читатели разных регионов, тоже не знаю. Но столичная информация пробудила во мне разные географические адреса, повлиявшие на мою судьбу. Каждый адрес воспоминание и, если хотите, погружение в самые светлые и чистые чувства, где ни единого пятнышка грязи...

На мне была новенькая форма и все прибамбасы дембеля-1975. До блеска начищенные ботинки, лихо заломленная фуражка, сержантские погоны, внутри которых какие-то пластины. На груди – бант значков от специалиста первого класса до «Отличника Советской армии». Блестит всё – лакированный козырёк фуражки, пуговицы, значки, ботинки, сам дембель и все его тридцать два зуба, одна из которых отлиывает золотом. Шик и блеск! Брюки-хаки, конечно, веером – модный клеш.

Но выделиться не получилось: в коридорах института та-

ких, как я, на каждом шагу и за каждой колонной. С некоторой долей недоумения, смешанной с опаской, на нас смотрят гражданские, шушукающиеся у окон, видно, что они года на три-четыре младше нас. Девчата, пробегающие стайками, обдают волнами кружащих голову запахов. Хихикают в сторону и демонстративно не замечают нас. До них ли, до всех этих суесящихся, когда решается судьба! Документы сданы, даты экзаменов известны.

Времени в обрез, даже рассматривать с набережной китайский город Хайхэ некогда. К тому же Амур рябит сплошной серебряной чешуёй.

В общежитии я скидываю форму и в сотый раз открываю учебник истории. И опять на странице, где смотрит на меня бессмертный мальчик из пещеры Тешик-Таш, реконструированный М. Герасимовым. Так и говорит глазами ехидно: «Не сдашь. Заупрямишься и не сдашь!»

Захлопнув мальчика, листаю дальше. Иван Васильевич, который Грозный. Опять реконструкции Герасимова. Потом проваливаюсь в сон. Откуда-то издалека появляется инженер-полковник Тренчик похожий на Ивана Грозного и грозит мне пальцем: «Смотри у меня! О русском языке говорить не буду, немецкий ты немного знаешь, на историю налегай. На историю!»

Иван Васильевич Тренчик, когда прилетал к нам на точку в Южное Гоби на дежурство, всегда говорил мне, что по-

езия никого ещё не прокормила, но если так милы гуманитарные науки, то лучше, конечно, стать историком. «Филология – дело женское!» – назидательно изрекал сухощавый инженер-полковник и перед моим носом трясся его твердый, обкуренный и с желтизной, палец, – «Но филологи – первые помощники при написании научных работ хотя и не получают ничего».

Мы стоим на ТО – техническом обслуживании. В это время за основную аппаратуру работает запасная, где-то в Казахстане. Основную чистим. Большинство офицеров части имеют учёные звания, а прапорщики – техники. Инженер-полковник занимается со мной историей. Вообще, он решил, что после дембеля мне надо обязательно поступать в институт.

Мальчик из пещеры Тешик-Таш давно пройден, но сержант Приходько всё время рассматривает его и кладёт книгу лицом мальчика на тумбочку. Некоторые буквы и нос мальчика на странице даже поистёрлись.

Сквозь сон слышу какое-то шелестение. Это, видимо, ребята с танцев пришли. Вот беспечные, завтра же экзамены... Погружаюсь, погружаюсь и снова оказываюсь на выносной, где мерцают экраны локаторов, огромная прозрачная карта-экран, испещрённая линиями и цифрами, за ней суетятся планшетисты, склонились над столами радисты, валяются чьи-то наушники. Пахнет спиртом, бензином, маслом.

Вся точка занята ТО.

Своё техническое обслуживание в аппаратной ЗАС я давно сделал, щётки спиртом протёр, лампы проверил, клеммы прочистил. Теперь слушаю полковника Тренчика.

Он открывает учебник истории и говорит, придавая самое серьёзное значение исторической науке: «Следующий у нас – Иван Васильевич Грозный. Тёзка мой. Сволочь, конечно, полстраны угробил. Ну ладно, к тебе это не относится. Итак, Иван Васильевич Грозный – стал царём в три года. Ещё жопу не умел подтирать, а правил... Надо же! Венчался на царство в 17... Как это венчался? С кем?»

Два часа с дотошным инженер-полковником изучаем царствование Ивана Грозного. И всё равно получается, что Курбский был прав, а царь уничтожил много народа. «Сволочь, а не царь. Крымские татары Москву сожгли при нём! Ладно, это к тебе не относится... Идём дальше. Запомни главное, сержант: Земской собор, 1549 год. Нет, не так. С начала надо. Записывай – 1530 год, родился, 1542 год – переворот в Москве. Напугали, видимо, тогда парнишку... Глинские... 1547 год – отправился воевать Казань. 1558 год – начал войну с Ливонией. Приходько! Ливонию знаешь? (Нет, товарищ инженер-полковник, я Литву знаю, а Ливонию не знаю...) Ладно, продолжай чистить, клеммы не перепутай...»

Вижу Грозного младенцем, мальчиком, мужем, сволочью тоже вижу..

Приходько чистит спиртом аппаратуру, почему-то к нему наклонился зампотех капитан Тимофеев, которого вообще не должно быть здесь. Инженер-полковник увлёкся историей и продолжает: «...Курбский, царь... Так, так, снова женился. Теперь на Марии Собакиной... Четыре раза был женат. Ну не сволочь, а? Тимофеев, что там делаешь возле спирта? (ЗИП у меня здесь, товарищ инженер-полковник)... Я дам тебе ЗИП, все ЗИПЫ твои пооткручиваю... Слушай дальше... Ни фига не могли эти опричники против крымских татар сделать... А страну гробили. Новгород казнили, Москву казнили... Что тут пишут «Вся земля пустее...» В общем, сволочь, а не царь. Но это тебя не касается. Учи Земской собор... Тимофеев, где твой ЗИП, покажи! Как нанюхался? Нюхалкой пьёшь?»

Просыпался я тяжело, в голове всё еще гудел инженер-полковник Тренчик. Облачившись в дембельскую форму с блестящими побрякушками и прибабасами, я отправился в институт.

Экзамены принимала пожилая смуглая бабушка в накинутой на тёмное платье белой кружевной шали, с толстыми очками на большом загнутом крючком носу. Большие чёрные глаза за очками всё время вопрошали. Она с демонстративным интересом взглянула на мою форму, особенно на брюки-клевш (вопросительно), загадочно хмыкнула и показала на нарезанные из тетрадного листа билеты, которые ров-

ными белыми прямоугольничками вниз текстом и вверх номерами, лежали перед ней на столе.

– Выбирайте, товарищ... как вас... сержант...

Конечно, мне достался – «Иван Грозный и Московская Русь в эпоху его царствования». Знакомая до зубной боли тема.

Конечно, я сказал об Иване Грозном всё, что думал о нём инженер-полковник Тренчик, чему чрезвычайно радовалась бабушка-экзаменатор, по всей видимости, симпатизировавшая князю Курбскому. Но вердикт не соответствовал её оживившему при моём ответе состоянию:

– Товарищ сержант, за ваши соловьиные трели я ставлю вам два. Это даже много. Интересно бы знать – где и кто вас учил истории?

Через два дня я сдал документы на отделение филологии. Экзаменаторы остановили меня на половине «Евгения Онегина», а рассказать я мог бы весь роман... И всю жизнь зарабатывал на хлеб писанием научных трудов разным военным и не военным, желавшим иметь учёное звание, хотя и это отделение не окончил, перейдя на работу учителем русского языка и литературы в среднюю школу, а оттуда судьба моя покатилась колобком, пытаясь уйти от всех ловцов и опричников.

Мой брат Петька...

1.

– Витьки у вас не было, тётя Маш? В школе его спрашивают.

– Был. Куды ж он денется. Ускакали они с Петькой в степь на тракторе. Вождением занимаются, – отвечала тетя Маша, сгорбленная десятилетиями работы в колхозе женщина, мать Петьки.

Лучистые глаза её в мелких сетях морщин чуть-чуть посмеивались.

– Водку, наверное, пьют снова, – говорила соседка тётя Маши, только пришедшая из школы.

Она там учила младшекласников.

– А может и пьют. Взял Петька сало, яйца, зелень с огорода насобирал, – спокойно говорила тётя Маша, щурясь на тёплый багровый закат, разгоравшийся над ближней сопкой так, что насквозь бронзовели высокие травы и кони, пасущиеся на горизонте.

В деревню спокойно вышагивали, покачиваясь, коровы. Целое стадо. Над ними облачками мельтешили комары и мошкара. Тоже бронзовые в лучах заходящего солнца.

Тётя Маша разговаривала с молодой соседкой у штакетной калитки, над которой нависали густые ветви старого тополя, морщинистый ствол дерева прятался с густых охапках листьев, повисших на ветках. За соседками виднелось уютное крыльцо со скамеечкой, коричневая дверь в сени. Оттуда появлялась баба Феня, высокая и жизнерадостная старуха, сестра тёти Маши. Она была лет на пятнадцать старше тёти Маши, но казалось, что на столько же моложе её.

Витька – это я. Петька – мой брат.

Я всегда знал сестёр, тётю и мать Петьки, такими – высокая и стройная в семьдесят лет, сторбленная и суеязящаяся в пятьдесят пять. Оба всю жизнь работали в колхозах и совхозах, пока не осели здесь вместе с Петькой. Он был единственным мужчиной, надеждой и опорой двух старух, которые сами того не зная, незаметно, год за годом, с рождения, превращали свою кровиночку в иждивенца. Умная воронежская кровь Петьки, смешанная с кровью сибиряков, не хотела становиться нахлебником, сопротивлялась и бунтовала, но любовь была упорной и настойчивой. Всё лучшее Петьке, последний вкусный кусок Петьке, рубль остался на хлеб – Петьке. Сопротивление Петьки слабело год за годом. Вот и водочку он стал попивать и меня к этому приучать...

Мы были с ним братьями. Не с рождения, с малых лет. В те далёкие годы тётя Феня трудилась где-то в другом колхозе, а тётя Маша работала у нас ветфельдшером. Днями и ночами моталась по степи на пароконной телеге. А Петьку

оставляла у нас. Он был ровесником моему брату, значит, старше меня на четыре года. Мы пока росли, стали братьями... Кем ещё друг другу мы могли стать?

Вождением мы занимались потому, что обязаны были заниматься. После школы Петька работал учителем машиноведения. Попробовал поступить в какой-то техникум, не получилось. Поступил заочно в институт. Он хорошо разбирался в технике. От природы был механиком. Вот и пригласил его вторым учителем машиноведения Валерий Николаевич Федурин, старый учитель, с большим стажем. Петька стал Петром Федоровичем Соколовым. Потом он сходил в армию, вернулся красивым русым сержантом. Снова стал преподавать.

А я в это время заканчивал десятый класс. В школе было два трактора. На новеньком МТЗ-50 Петька обучал старшеклассников вождению.

Со мной занимался отдельно.

Мы уезжали с ним на нашем тракторе в степь, брали бутылку водки, закуску и допоздна сидели на берегу озера, беседуя и рассказывая друг другу стихи.

– Ну, брат, поехали! – добродушно говорил Петька, протягивая мне гранённую рюмочку водки и пододвигая кусок чёрного хлеба, на котором белело сало.

Мы называли тётки Машину скатерть, которую он возил в тракторе, самобранкой. Чего только не ней не перебывало. Сегодня были яйца вкрутую, сало, лук, чёрный хлеб. И соль.

И водка.

Мне ещё и 17 не было... Я бодро опрокидывал рюмку. Водка жгла недолго, потом тёплая волна прокатывала по телу. И мы на миг воспаряли над степью. Русые Петькины вихры отливали закатным жаром солнца. Так легко и радостно было сидеть в степи и смотреть на травы у новенького трактора.

– Май весёлый... – пело в груди.

– С белыми ночами, – задумчиво продолжал Петька.

И вдруг, остановившись, поворачивался ко мне:

– На охоту поедем?

После второй рюмки:

– Человек человеку – не друг и не враг, но подобие его. В общем, брат. Как ты думаешь?

Я думал также...

Было это в сентябре 1972 года. Сейчас зима 2018 года. Он третий год в могиле. Умер от водки. И я уже не ругаю его за пьянство, как при жизни. Все вспоминаю, вспоминаю...

Обязательно вспомню и расскажу о них, двух воронежских бабушках, которые жили в сибирской деревне, со своим Петькой. Пока не грянула перестройка с последующей перестрелкой и перекличкой, на которой уже нет ни бабушек, ни Петьки. Они ушли, как жили, без укора и обиды. Их дом сегодня оседает в землю рядом с моим. И смотрит на мир пустыми глазницами окон. Там обязательно поселятся хорошие люди.

Так должно быть.

Ах, да вспомнил: за всю свою пьяную и трезвую жизнь Петька не произнёс ни одного матерного слова. Не умел...

2.

Интересно, что у сестёр были разные диалекты. Баба Феня сохранила воронежский, который тёте Маше не шёл, она уже вся была забайкальским человеком и речь у неё, конечно, тоже была забайкальская.

– У нас в Рязани грибы с глазами, они глядят, а их ядят. Наречие у нас такое! – Смеялась задорно баба Феня.

Ей тогда ещё и семидесяти лет не было, глаза молодо лучились, и вся она светилась былой красотой, как заходящее за тучами солнце в пасмурный день.

– И каво ты вспоминаш? Пошто о ём говорить? – Беззлобно спрашивала тётя Маша, хотя прекрасно понимала «каво вспоминат» её сестра.

Вспоминала она, конечно, Воронеж. Не то сам город, не то село, где она когда-то жила, не забыла, видимо, тосковала и сохранила до самого ухода в иной мир свой говор или наречие, как она выражалась.

Мне довелось изучать этот говор, который относится к рязанской группе. Изучал и сибирские диалекты, на одном из которых говорила мать моего брата Петьки. Родные сёстры, но речь совершенно разная. Так распорядилась судьба.

Почему занесло их сюда, в забайкальскую степь, из села Малоархангельское Воронежской области, какие ветры их

пригнали или сами подались? В памяти у меня остался только смутный рассказ бабы Фени о том, как они ехали по железной дороге в 1940 году со множеством других людей на восток. Она – тридцатилетняя и сестра её – пятнадцатилетняя. Почему вдвоём? Как они оказались вдвоём? Где родители? Почему они оказались в этом вагоне?

– Во-во, кочет кур гоняет! – задорно восклицала баба Феня, глядя в окно, где гомонило большое хозяйство тёти Маши.

Глядя на это хозяйство, я всегда вспоминал утро Чичикова у Коробочки. Вот он, ещё сонный после мягчайших перин, подошёл к окну и видит во дворе галдящих кур, гусей, уток, овец, а какая-то ленивая и обожравшаяся всякой всячины свинья мимоходом съедает зазевавшегося цыплёнка. О какой сытости и каком достатке говорит этот факт!

Конечно, тётя Маша ни при каких обстоятельствах не могла напоминать Коробочку, но хозяйство... Куда денешь бережливость и рачительность?

Через много лет я вижу этот дом и хозяйство совсем другими глазами. Эти люди ни одним движением не превращали свою жизнь в мучительную для себя каторгу, которую я наблюдал и наблюдаю повсюду. Даже весь домашний мусор у бабушек был отсортирован.

Тётя Маша обладала каким-то особым даром выращивать свиней. Гладких, жирных и чистых. Всегда двух. По весне покупала двух поросят и до поздней осени они вырастали в

огромных белых свиней. Главным забойщиком был я. В конце ноября Петька звал меня. Стрелял он сам из своего ружья. Всё остальное делал я. Работа эта мужская, требует чистоты и аккуратности. Опаливали лампами. На всякий случай держали старую и чистую рессору от тракторного прицепа. Если была необходимость, я добела накаливал рессору. Обычно, она нужна при обработке ног или ушей.

Баба Феня ласково смотрела на нас в окно, а тётя Маша возилась возле меня и Петьки со свиньей требухой, кровью, осердием в тазах.

Морозы стояли крепчайшие, и вся даль до горизонта была покрыта белым, искрящимся, снегом. Ближняя сопка была усеяна весёлыми ребятишками, которые скатывались на санках и лыжах.

К вечеру свинья или по местному «чушка» была опалена дожелта и разделана. Вот уже загорелись электрические лампы окна в деревне, а на печи тётя Маши клокотал полный чан мяса, картофеля, лука, овощей. Умопомрачительные запахи плыли по избе!

На столе дожидались нас огурцы, помидоры, грибы и прочие разносолы, фрукты, вареные яйца. А бабушки ещё не спеша лепили пельмени. И, конечно, посередине этого обильного стола блестела запотевшая бутылка водки и сверкающие рюмки. Всё это для нас с Петькой.

Бабушки, насколько мне известно, никогда даже и не пробовали водку. Они полагали, что мужик просто обязан вы-

пить рюмочку-другую. Об алкогольной отраве в 1970-х никто даже и не думал.

Как говорится, чистая, как слеза...

После первой рюмки Петька зачем-то вышел на улицу.

Я невольно услышал как баба Феня выговаривала своей сестре:

– Хоть бы один раз приехал однорукий чёрт! Он же весь в него, = кивнув вслед вышедшему Петьке. – Весь!

– Да што ты всё время его вспоминаш? – всплеснула руками тётя Маша. – Двадцать пять лет не было и ишо столько же не надо. Оставь, Феня, этот разговор. Петька идёт...

Через много лет я узнал, что отцом Петьки был однорукий фронтовик из соседнего района Фёдор Соколов. Узнал об этом и Петька. Но сейчас он зашёл с мороза, ополоснул руки под ручкомойником и весёлый сел за стол.

– Наливай, брат! Подцепляй грибочки-то.

Да... «На них глядеть, а их ядять...»

О том, как Ваську съели

Добродушный увалень Володя Левченко в своё время объездил все степные просторы СССР. Он и тракторист, и сталевар, и крановщик, и грейдерист. Килограммов за сто двадцать весил в молодости. Лицо широкое, сам шутил; из-за бочки только уши видны.

Рассказчик отменный.

Друзья уговаривали его писать прозу. А он – нет, рассказы мне ни к чему, если я – поэт. Но никто его стихотворений всерьёз не воспринимал. Рассказы слушали, как говорится, открыв рты и затаив дыхание. Конечно, все они были художественными, яркими, насыщенными, но самое главное – они были реальными случаями из жизни, в правдивости их никто не сомневался.

Один из рассказов я запомнил на всю жизнь.

– Тарбаган говоришь? Это же обыкновенный сурок. Их несколько разновидностей. Видел я их, почти всех видов! Самые крупные в Казахстане. Я там на целине был. Мы такие просторы распахивали! Даже голова кружится от воспоминаний! Вот там и были эти тарбаганы. Видимо-невидимо. Байбаками их называют в Казахстане.

Правда, байбак будет покрупнее здешнего тарбагана, но

более, как бы сказать, рыхлый что ли... Ерунда, что их нельзя приручить. Ещё как можно. Хватать их, конечно, надо умеючи. Если вцепится, не оторвёшь. Он сомкнёт клыки, как клещи. И не разожмёшь! Так и помрёт вместе с тобой.

Наш тарбаган покрасивше будет байбака. Наш – более насыщенный цветами, иногда и чернотой, и серым отликает. А байбак песчаного цвета, разве что брюхо у него темноватое, да ещё брови пятнистые. Ест он разную траву, любит овёс. Если в степи растёт дикий овёс, значит, поблизости может быть и колония байбаков. Мясо его вкусное, не хуже, тарбаганьего. Байбака едят все. Птицы, люди, хищники всякие. На целине мы только его и ели. Даже дома довелось держать.

– Приручал что ли? – спросил кто-то.

– Конечно, на целине. Мы распахали такие просторы, где, наверное, миллионы байбаков жили. Сейчас их мало. Либо они ушли, либо вымерли, либо перебили всех. Но навредили мы ему целиной здорово.

Однажды я поймал байбачонка. Бегают они медленно. Я был на пахоте, издалека его увидел, он, видимо, далеко от норы отошёл. Остановив трактор, я быстро догнал его, накрыл телогрейкой, а потом взял за шкурку... Положил в армейский ящик, который был у меня в тракторе. Привёз домой.

Васька быстро стал ручным. Разжирел сильно. Правда, накопал вокруг дома и под домом нор с разными ходами и вы-

ходами. Я даже бояться стал, что дом упадёт. Ребятишки мои привыкли к нему и всё время играли с ним. В общем, стал своим. Бегал, путался под ногами, еду выпрашивал. Зимой он проспал в подполье, была у него там дыра откопана.

К осени следующего года разжирел до не могу.

– А что потом? – спросил я, перебив внезапно рассказчика.

До сего дня я жалею, что остановил Володю.

– Что, что. Как-то приехал ко мне брат. По пьянке мы за-резали и съели Ваську...

С тех пор я перестал слушать рассказы Володи Левченко.

Как зеки учились стихи писать

Лёшка, мой старинный друг и земляк, рассказывал.

.....

На промзоне было, костерок развели, чифирь заварили.

Семейка поэтов со второго отряда: я, Аркаха Первый, Аркаха Второй, Ермак. По фене ботать в падлу. Давно договорились. Стихи разбираем. Для начала байки травим.

Аркаха Первый вспоминает:

– Он их схватил, когда с прогулки заводили. Его откуда-то с границы привезли, он так и называл себя «Приграничный комбайнёр». Ну, укоротили кликуху, Комбайнером стали звали.

– А что схватил-то?

– Оладьи какие-то у охраны стащил. Они с прогулки толпу заводили, а Комбайнер умудрился не то из комнатки, где они чаюют, не то ещё откуда-то у них стащить папушу оладьев. Они пересчитали зеков, завели в камеру, вернулись чай пить, а оладьев-то и нет.

– Ну-у, – придвинулся к рассказчику Ермак, сдвинув козырек пидарки на ухо и успевая дуть на коричневую, пенящуюся, жижу в кружке.

– Что, ну... Снова открыли нашу хату, обыскали Комбайнера. Нет оладьев. А когда ушли, смотрим – Комбайнер сидит на шконке и пожёвывает оладьи. Ещё и нам предлагает. Мы рты разинули, а он смеётся.

– Во-о артист! – присвистнул я от изумления.

– Ещё какой! – сверкнул фиксой двухметровый Аркаха Первый. – С первого дня на нём был полувоенный китель. Он его почти на голое тело носил. А теперь он снял китель, вынимает оладьи, ржёт и бьёт себя по худым плечам маслянистыми руками. «Вот, они погончики!». Он их на плечи под китель положил.

– Били его? – поинтересовался Ермак.

– Когда было за что, били. А что толку. Комбайн же железный. Однажды он что-то накосячил, всей хатой его метелили, а он согнулся эмбрионом, накрылся кителем и молчит. А потом выкинул худую руку и кричит: «Погодите, погодите!». Все отпрянули, а он сел на пол и заявляет: «Вы бы хоть перекурили что ли?»

– Всякие пассажиры есть, – заметил Аркаха Второй, доставая из кармана куртки листок с моим стихотворением. – Ладно, хватит об этом Комбайнере. Стихи Духа будем разбирать. Сегодня их очередь.

Дух – это я, Лёшка. Мы все тут по большим срокам находимся. И все пишем стихи. Семейка наша – кружок поэтов. Всю библиотеку зоны перешерстили, с воли шлют книги, из семей, каких-то обществ. Шаламов, Пастернак, Гуми-

лев, Шекспир, Ронсар – вся русская и зарубежная классика нами читана и перечитана до дыр. Но всё равно чего-то не хватает...

– Начинай! – одобрительно сказал Ермак. – Время есть.

– Выйду отсюда в фуфайке, взятой за десять рублей, жёнось на блюдюге Файке как можно скорей, – выразительно прочитал Аркаха Второй, засмутился и закашлял.

Но вдруг его остановил Аркаха Первый:

– Погоди, погоди, Арканя, не гони. Во-первых, договорились – без всякой фени и матов. – Большими ладонями он будто бы отодвинул феню и мать, выразительно оглядывая кружок. – А тут сразу – оскорбление. Фая – растянута до Файки ради рифмы, но в середине строки – оскорбление женщины, не заслужила она этого. Не надо почём зря обижать Фаину. Обоснуй, Дух? – Повернулся он ко мне.

Я отодвинулся от него, тем более, что тональность его голоса была готова измениться. Зеки это чувствуют до изменения. Потом будет поздно.

В неволе всё и все требуют обоснования. Нет – значит врёт.

Момент был затруднительный. Прав братуха. Крыть нечем.

– Эмоции! – Уныло согласился я, думая, что лучше бы уж о Комбайнере продолжали разговор, чем о моём стихотворении.

Ермак подбросил в костёр щепок, подвесил жестяную

банку с водой. Вокруг нас высились недостроенные здания, в которых мы варили трубы отопления. Где-то разговаривали офицеры, солдаты, зеки.

В это время к нашему костру робко подошел невысокий мужичок из нашего же отряда. Я заметил, он давно посматривал в сторону нашего кружка. Но подходить и общаться, видимо, опасался. От нас, наверное, пахло серьёзной угрозой. Краем уха мы слышали, что мужичок вырос до строгого режима из-за смешной статьи, 209-й – тунеядство и бродяжничество, когда его перестали сажать, он принялся воровать стираное бельё. Так и стал рецидивистом.

Он подошёл и несмело протянул руку к листку бумаги с моим стихотворением, который держал в руке Аркаха Второй:

– Позвольте посмотреть, молодой человек?

Воздух сгустился, даже на расстоянии можно было ощутить, что семейка наша напряглась. Я одобрительно кивнул Аркахе Второму. Тот небрежно протянул бумагу этому невзрачному бродяжке, который изящно взял листок и жадно вгляделся в буквы.

Нам показалось, что читал он очень и очень долго. Наконец, мужичок заинтересованно оглядел наши обветренные лица, жестяную банку, кружки с цифирем и сказал профессорским голосом:

– Стихотворение, конечно, очень слабое, сразу видно, что автор страдает от недостатка образования и культуры, но...

В этом месте семейка, сидевшая скрестив ноги, даже привстала.

— ...но оправдывается лирическим содержанием. Полагаю, что у автора есть недюжинный природный дар стихосложения. Для лиричной души русского человека это весьма характерно.

Привставшая семейка зеков на миг повисла в воздухе. Обрато села уже поодиночке.

.....

С того момента прошло 30 лет. Лёшка – одарённый и замечательный поэт. Выпустил уже несколько поэтических книг. Речь профессора не забыл.

Коля и Люба

Нормальный человек так не может кричать. Это какие-то невероятные и жуткие звуки, в которых хрипят и шипят гласные и согласные. Мир наполняется эти ужасными звуками, которые обрываются так, что даже не верится, что наступила тишина.

– А где мы можем жить? Всю жизнь в совхозе работали. Он так с быками и коровами обращался, что все ветеринары ему завидовали, – тихо говорит Люба о том, кто только что так ужасно кричал. – Надо привыкнуть. Он тоже привыкнет, слушаться будет. Коля, замолчи, не надо кричать. Понимает

он, видите?

Коля, порывавшийся снова закричать, действительно успокаивается.

В голосе Любы умиротворённость. Она довольна. «А до этого? – боюсь спросить я. – Каким он был до этого?»

Я думал, что он так будет кричать без конца. Как лечиться остальным?

Врачи напугали меня и родных: в любой момент может случиться инфаркт. Положительные эмоции испытываете? Откуда они у нас могут быть? Среда не знает воскресений, всё время в агрессии и напряжении. Врачи послушали, покачали недоверчиво головами в белых колпаках и определили в узенькую, как пенал, палату на четыре койки.

Так я познакомился с Любой и Колей. И Кешей, который лежит на кровати возле двери. Баню он строил, хотя недавно приехал после операции на сердце. А тут опять жена повздорила с ним. Итог – второй инсульт. Кеша говорит, что он закончит стройку. Даже жена его думает так. Она часто бывает в больнице, и долго шушукается с Кешей у окна коридора.

А Люба медленно катит мимо них Колю на коляске, тот разглядывает самодельные плакатики, которыми увешана вся стена. Коля ещё может высоко и криво вскидывать голову. И снова заходится в жутком крике.

Они – муж и жена. Им по пятьдесят. Не старые ещё. От совхоза остались фундаменты домов, гаражей, ферм, ка-

кие-то ржавые железки. И воспоминания. Настоящая жизнь Любы и Коли была и осталась там...

Говорю им, что посмотреть на развалины бывших колхозов и совхозов когда-нибудь поедут иностранные туристы. Но Любе и Коле безразлично. Они уже свыклись со своей бедой. Люба говорит, что через неделю ей надо везти Колю в город, на ВТЭК. Оказывается, инвалидность надо удостоверить каждый год. Врачи должны посмотреть на её парализованного Колю и убедиться, что он по-прежнему «овощ», которому нужен уход. Как и на что она повезёт его на комиссию?

– Где они набрали и откуда притащили эти мерзавчики? Ну, бутылочки такие. Пили их, пили, – рассказывает о случившейся беде Люба. – Откроют мерзавчик, смешают с водой и пьют. Злыми от него делаются, ужас! Потом, как и всегда, разодрались. Я же их и унимала, разгоняла по домам. А Коля вечером снова потащился в эту «кафешку», ну дом такой, заброшенный. Там все наши ханыги собираются... Я и забыла про него. А утром – завыли его родственники: убили Колю. Прибегаем, лежит. Раскоряченный среди окурков и бутылочек этих. Потом врач сказала, что его душили да не задушили, какие-то нервы повредили. Уже третий год так живём. Пенсию хоть дали. Легче стало...

У меня начинает стучать в висках. Пенсию им дали. Всю-

ду эта пенсия, эти пять, семь десять тысяч рублей. У кого больше, у кого меньше. Люди жизни свои отдали, а теперь недовольны, как будто что-то ещё недодали.

– Пенсия это хорошо! – говорит из своего угла рассудительный Кеша. – Раньше получил. А по закону ещё бы лет десять ждал.

– Тогда, наверное, и пенсий-то не будет! – восклицает Люба.

Раньше им назначили пенсию. Повезло что ли?

Люба, наверное, первой красавицей была в молодости. Стройная, рослая. Рыжая коса без седины. И Коля, конечно, был видным мужчиной. Фактурность в нём и сейчас проглядывает. Кучерявый, смуглый, черноволосый, Люба говорит, что он ещё и гармонист. Первый парень на деревне. Порой он слабо шевелит длинными и худыми пальцами. «С быками управлялся...» Иногда взгляд его осмысленный. Повернёт голову на человека и «читает» его. И тогда в нём что-то булькает. Люба хорошо понимает его «речь». Они как бы беседуют между собой.

Дети их давно живут далеко от родной деревни. Но одна дочь дома. Никак не уезжает. Не пьёт, потому на ней вся семья.

– Туалета же у нас дома нет, а он только под себя может. Кроме того, его надо одеть, обуть, обтереть. И не один раз. – Как о чём-то будничном говорит Люба. – Сейчас он совсем

лёгкий. Поднять и перевернуть его милое дело.

Мы с Кешей становимся свидетелями того, как Люба делает это «милое дело». Почти три года она ухаживает за Колей. Многих жён стоит эта Люба!

– Правая нога у Кольки ещё шевелится. Вот-вот, снова характер показывает. Не лягайся, чёрт! – смеётся Люба, радуя Кешу и меня.

Она умело и быстро одевает на мужа рубашку, но тот, пробует пнуть жену, при этом мычит и гневно показывает ещё живым глазом на Кешу и меня. «Ревнует!» – догадываюсь я, выходя в коридор.

И снова слышу страшные крики бедного Коли.

– Раньше он притащится домой пьяным, орёт на всех и бегаёт с ножом. Да не убил бы он никогда, хотя кто знает пьяного. Добрый он, мухи за всю жизнь не обидел... Может быть лучше так-то. Ведь сейчас и пенсию получаем, а раньше денег вообще не было. – Обречённо и тихо шепчет в палате вечером Люба, бережно покачивая толстый матрац задремавшего Коли. – Вот подняла я его, развернула, обтерла и спать уложила... Лучше может быть так, а?

Душа моя сжимается и содрогается. Отворачиваюсь к стене, чтобы никто, особенно Люба, не видел моих слёз.

У кого и какие тут могут быть слова? Эх, страна...

В мастерских

Гохуа

– Представляешь, покойник меня обнял и спрашивает: «Когда?»»

Ни о чём не говорит, ни к чему не обязывает. Это возможный разговор 1989 года в мастерских, где, на самом деле, должен быть один художник, но обитает всегда много артистов. Отсюда и стиль.

В том году Юра заговорил о гохуа. Наши краски, наши цвета, наши картины. Всё что относится к разным краскам нашей земли. Так объясняет. И пытается одним движением, не отрывая кисть от бумаги, изобразить это самое гохуа. День пытается, два пытается, вот и третьи сутки пытается. Всё потому что границы открылись. И Китай хлынул к нам. А великий Ге Ша, отправившийся из Пекина в Мангышлак, вернулся в нашу мастерскую.

До этого мы о гохуа и слыхом не слыхивали. Ленина на линолеуме вырезали, гуашью мазали, маслом писали. До Ильича заказывали «четверик», то есть Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, потом одного замазали, пошли заказы на «трой-

ку» – Маркса, Энгельса, Ленина, а в последние годы, перед открытием границы, автоматически размножали только Ильича. Пережил.

В перерывах между деньгами, то есть заказами и пьянками, каждый выводил что-то своё. Но после «четвериков», «троек» и ильичей очень трудно оживить воображение и что-нибудь выдать. Как сказал Юра, это как жопа, затянутая паутиной. Видимо, так намекает на творческий застой, хотя ему намного легче, чем другим. Он – график, человек, владеющий острейшим ножом, которым вырезает всё, что необходимо, на линолеуме, а нужные заказы нарезал давным-давно и уже успел забыть о них.

Руки его, по мере необходимости, могут превращаться в перья для туши, карандаши, кисти, флейцы.

– Вот, – потряс он однажды жилистыми руками, отмерив их по локоть, – до этих пор золотые, а дальше – платина.

Но вдруг всё эти фигуры завертелись и исчезли в какой-то вихрящейся красной мгле, как в турбине. Куда их выбросило, неизвестно.

Но мы же остались. А Юра даже не заметил этих перемен. Он теперь занимался акварелью. Вот уже три дня вода привлекает его больше водки! Потому что гохуа это – вода и краски, не акварель, гохуа – это непрерывное движение воды и краски!

Мастерские занимают в многоэтажках верхние этажи или

подвалы, а также нежилые строения в переулках и дворах. В одних и тех же мастерских можно принимать делегации иностранцев, а иногда – ставить пьесу «На дне».

Живописец, актёр, поэт, изгнанный из дома за неверность или спившийся начальник, подозрительная бездомная личность, директор чего-то, которому грозит тюремный срок за растрату – это неполная категория обитателей мастерских. Здесь происходят встречи невероятных и неправдоподобных судеб. У каждой свой случай и своя история.

Но весь устоявшийся порядок нарушило неожиданное явление гохуа.

Было так. Бежит начальница культуры, не хрен собачий. Вбегает со своими причиндалами в мастерскую Юры. Заказ на «тройку» или Ильича? Нет, начальница рисует совсем другую картину:

– Иностранец со свитой! Желает видеть все русские знаменитости, особенно художников и поэтов. Пьянь и дрянь вон отсюда, кроме, кроме, – мазнув взглядом по присутствующим, ткнула пальцем в меня, – На месте. Поэзий развлечёшь.

Бутылки, куски хлеба, полные банки окурков и пепельниц, хвосты селедок – всё в мешок и на антресоли. Дежурный коврик на пол, на стол – белейший матовый ватман. Юра не воспринимает всё ослепляющее и глянцевое. На ватман водружается ваза, из которой много лет торчат высохший ре-

пейник и какие-то злаковые.

Толпа выметнулась по приказу начальницы и сразу вернулась.

Лица ополоснули, бороды причесали. Ободрились. Ждём-с...

Делегация нагрянула, как стая изысканных и говорливых птиц. Одни китайцы. Но Ге Ша оказался евреем. В Мангышлак едет. По пути заезжает ко всем знаменитым русским художникам, которые в дальнейшем могут стать его рекомендациями в России, как и он сам – рекомендацией для них в Китае.

Грянули залпы, полетели пробки шампанских, зашипело в бокалах, забулькало в стаканах. Мастерскую озарили вспышки фотоаппаратов. Немедленно вспыхнула гулянка!

И в этой вакханалии Ге Ша показал Юре стиль гохуа. Он изящно взял рукой кисть и, обмакнув её в акварельные краски, одним движением вывел на матовом ватмане летящую в белом пространстве белку.

Так было сломано равномерное течение нашей жизни. Вопрос, который прозвучал в начале рассказа, отпал сам по себе...

Через несколько месяцев в мастерскую поднялся почтальон и торжественно вручил Юрию Анатольевичу бандероль. Там были номера цветных китайских журналов, на од-

ном из разворотов – мы и мастерская Юры.

Теперь он время от времени отрывается от своего гохуа, тычет в иероглифы и объясняет:

– Это про нас. Тут всё про нас. Это китайцы так пишут...
В общем, гохуа.

Кони Гефеста

1990 год. Зима. Город на Восточной окраине России. От угла дома на пересечении улиц Ленина и Островского до невзрачного магазина из белого кирпича получилась утоптанная по снегу диагональ, пролегающая через площадь Декабристов с выходом на угол улиц Чкалова и Полины Осипенко. По диагонали люди ходили за водкой.

По обе стороны этой тропинки первые бомжи перестройки собирали «бычки» самокруток, сигарет «Прима», «Астра». Но в магазинах порой и этого не было. Пакеты ещё не валялись, бутылок тоже не наблюдалось, сами сдавали. Свадок тоже не припоминаю...

– Ты понимаешь, я Гефест, – объяснял мне по пути Юрий Анатольевич, затягиваясь самокруткой из крепчайшей махорки. – А Гефест – это урод. Вот послушай...

Мы остановились и разговорились, удивляя прохожих, тоже любителей этой диагонали. Дыша на меня табаком, внимательно смотря в глаза, Круглов стал рассказывать историю жизни урода Гефеста.

– Мы с ним люди одной судьбы, – убеждённо говорил мой друг. – Родился он тщедушным, хромым, щупленьким. В общем, не жилец... Как и я...

Началась эта история ночью.

Никогда не знаешь на что или кого наткнёшься, собираешься в гости к художнику. Часа в два ночи я набросал стихотворение. Это были впечатления: опять же Круглов, пейзаж – река, ивняки, отмель и лодка...

Еще немного! Первый лучик робко

Забрезжит сквозь извивы ивняков.

На отмели ссутуленная лодка

Все ждет меня из глупых городов...

Меня мучило, что цвета пейзажа напоминали стиль Яна Ивановича Шплатова: что-то матовое, приглушённое, с едва заметным коричневым оттенком. Строки надо было показать Круглову. Сейчас ему, наверное, очень одиноко...

За окном общаги была густая темень, где-то далеко не то стреляли, не то били железом об железо, что-то ухало и бухало, кричали люди. Город жил страшной жизнью голодных и злых зомби, повсюду стояли железные киоски с решетками и массивными дверями. Квартиры становились точками бандитов и бастионами напуганных горожан. В это время неплохо зарабатывали сварщики: нужны были тысячи дверей и решеток. По ночам часто стреляли, слышались пьяные крики и мольбы о помощи. Казалось, что сосед душит соседа, а в каждом переулке можно наткнуться на нож или убитого человека.

Но, независимо от этой страшной обстановки голода, холода и разгула бандитизма, через весь город пролегал незри-

мый путь от моей общаги на улице Шилова до мастерской Круглова, окна которой светили, как маяк в ночи, на девятом этаже дома на углу улиц Островского и Ленина. Похмельно, красно, но светили.

Мы ходили напрямую, срезая все возможные углы. В тот раз я отправился Круглову в третьем часу ночи. Путь был неблизкий, ходьба по ночному городу было делом привычным, к тому же согревало чувство, что среди этого жуткого разгула озверевших уродов, в любое время дня и ночи ждёт меня близкий человек, который вникнет в строки, написанные в каком-то полубреду. Да и вся жизнь в те годы проходила как в полубреду...

К четырём часам ночи я дошел до мастерской. По пути наткнулся на толпу пьяных, еле-еле отбился от них, перемахнул через забор и слышал за спиной крики: «Лови нерусского!» Для таких случаев я всегда носил подаренную мне офицерами-афганцами гранату без чеки, иногда цепь или кастет. (Кстати, чтобы потом не повторяться: в те годы, Круглов носил за голенищем унта преострейший сапожный нож, которым он резал линолеум для гравюр и бумагу).

Юрий Анатольевич не спал. Он раздумывал перед натянутым холстом, на котором были изображены убегающие по каким-то ступеням (*внутри Парфенона? здание в Афинах?*) кони. За ними полз, протягивая руки, старый грек в красном хитоне, из-под которого выбегал кривой и крова-

вый, в алых пятнах, след. Круглов курил самокрутку, то отходил от работы, то снова приближался. И, наклоня голову, рассматривал и размышлял о чём-то очень важном, будто силился вспомнить что-то произошедшее с ним давным-давно и забытое до поры до времени.

– Кони Гефеста, – коротко ответил на мой недоуменный взгляд Юрий Анатольевич. – Чай будешь?

У нас никогда и ничего не происходило просто так. Любая пьянка – проверка мастерства. В те годы наш друг Володя Литвинов замечал: «Я как новая машина. Проверяю себя на всех скоростях и во всех режимах». Так вот, мы похлебали чай, я прочитал Юрию Анатольевичу стихотворение, он всплеснул руками и горячо заговорил об искусстве, бросив в паузе:

– Ты прав, тут Шплатовым припахивает... Это его стиль. Кстати, единственный и неповторимый...

Спали мы от силы часа три-четыре. Утром вспомнили, что надо отмечать событие: стихотворение и коней Гефеста. И вот теперь идём «в девятку» за водкой, стоим на протоптанной диагонали, ведущей в магазин, и Круглов продолжает речь, начатую еще перед рассветом:

– В общем, не жилец был Гефест. Как и я. Близкие даже не думали, что я выживу. Они всё время куда-то переезжали вдоль Шилки. Рассказывали, что возили меня в сундуке. И мать у меня была такая же, как и у Гефеста.

– Гера что ли? – недоумённо переспрашиваю я.

Прохожие на нас удивлённо оглядываются и перешёптываются: «Художник с поэтом. Пьяницы... За водкой поперли. Да ещё в шинели».

– Ага, – кивает согласно Круглов. – Как могла эта Гера разглядеть, что из этого уродца получится Мастер? Пойми: любой земной огонь имеет небесное происхождение, но прячется он в недрах вулканов. Так и талант человека. Как могла Гера догадаться об этом? Она ужаснулась своего сына и сбросила его со своего сраного Олимпа. Также поступили и со мной. Примерно такова же и твоя судьба, и судьба многих художников... Простые люди всегда будут ужасаться непредсказуемости.

Он затянулся самокруткой и, выпустив дым, закашлял, намереваясь сказать что-то важное. Поправил на ходу воротник шинели, полы которого волочились за ним по тропинке, как королевская мантия.

Я оглянулся и заметил, что прохожих становится больше. Все они удивлённо, а некоторые откровенно весело, смотрели на нас. Оказывается, люди интересовались не беседами об искусстве, а шинелью Юрия Анатольевича.

На нём была настоящая генеральская шинель. Шинель высокого и осанистого генерала Л-ского. А Круглов был шупленький, невысокого роста. В спешке он набросил на себя шинель генерала, который мирно храпел в маленькой

комнате мастерской.

Генерал Л-ский пьянствовал с нами уже неделю. Что-то случилось в его генеральстве, он запил, закуролесил. По пьянке, случайно, попал в нашу среду, где все дни были воскресеньями. Это ему так понравилось и настолько поразило, что он многократно увеличил дозу спиртного. Вследствие чего и спал в мастерской Круглова беспробудным сном, спал так, что даже мы начинали побаиваться.

Водку в те годы продавали по талонам. Но что значит для художника талоны? Всегда нарисует. И вот мы спешим по диагонали в магазин, но дойти нам мешает Гефест, который всё время напоминает Круглову о судьбе многих художников. И о его личной судьбе.

Видимо, ночью генерал улёгся спать, Круглов вытащил давно начатую работу. Ночной свет ему не мешал. Однажды он сказал мне: «Надо работать без естественного света, так лучше править при естественном...» В это же время я написал стихотворение и отправился через весь город в мастерскую Круглова, где спал генерал и висела его длинная шинель.

– Ты же знаешь, что Гефест – самый первый изобретатель, – не оставляет тему Круглов по дороге в магазин, продолжая подметать снег полами генеральской шинели. – Всегда помни, что за уродством может скрываться гений и светлый ум добрейшего человека...

Из провала поднятого воротника шинели выглядывает

рыжая бородка Круглова и оттуда валит махорочный дым.
Слышно:

– Когда мать сбросила Гефеста в море...

Сизифов камень

Кто может представить 1982 год и районную газету в глухой провинции СССР? Вот рассказ моего старого друга Виктора Павловича.

– Почему Вы все время обзываете нас? – обращался ко мне на собрании двухметровый парторг моего родного колхоза Демьян Федорович Кабаков.

Он стоял за трибуной и бросал громогласную речь в сумрак зала, где любопытствовало больше половины села, а вместе с ними и я, приехавший от районной газеты в командировку, но втянутый в ситуацию и на собрание.

Трибуна была обита багровым бархатом, как поставленный на попа гроб. На бархате – портрет В. И. Ленина. Над вождём горбился двухметровый парторг.

– Что такое сизиф? Почему вы нас всех называете сизифами? – Недоумённый взгляд в зал и вопросительная пауза.

– Скажите мне товарищи или я забыл: когда мы вкатывали какие-то камни на гору? А если вкатывали, то почему не укрепляли? Ведь товарищ корреспондент пишет, что эти камни всё время скатываются, а мы их снова вкатываем. В гору!

– Не было такого! Не было! – Загалдел зал.

– Врёт Витька! С детства врал!

– Заявление на него Кабаков пиши, заявление! – орали из дальнего угла.

– Матерщина, поди, какая-нибудь иностранная этот сизиф. На фук или на фиг похоже! Он любит иностранщину!

– Так он же в газете написал, не на заборе, что мы все сизифы, с утра начинаем вкатывать какие-то камни в гору. На Крестовку что ли? Так туда никаким каким никого не вка-тишь!

– Вы слышите, товарищ корреспондент, никто и никогда у нас никаких камней на Крестовку не вкатывал, – загремел Демьян Федорович, ища взглядом меня.

– Погодите, друзья! – На сцену вбежал взволнованный учитель истории Сергей Петрович Лопатин. – Сизиф это историческая личность. Боги его приговорили к наказанию вкатывать камень на гору в Тартаре... Это бесполезный труд...

– Очумел Петрович! Это мы – личности? Какой Тартар? Да Витька пишет, что мы всем колхозом ерундой занимаем-ся, – крикнул из зала Сашка Пузырев, мой одноклассник.

– А чем должны?

– Товарищ Лопатин, сойдите со сцены, не мешайте вести собрание! – Сверкнула очками и постучала карандашом по графину секретарь сельсовета Анна Васильевна, одиноко сидевшая за столом президиума, стоявшего возле трибуны на сцене. Стол тоже был обит багровым бархатом и тоже напо-

минал ритуальное изделие, но без чёрных лент.

– Да вы знаете... да вы знаете... Сизиф это... – Отчаянно кричал, чуть не плача, Лопатин, сходя по ступенькам со сцены.

– Армян что ли? – кто-то спросил у него.

Лопатин махнул рукой, пробираясь к месту и протирая на ходу очки носовым платком. Мне показалось, что он уже плачет.

– А чё он ишо понаписал? – спросил кто-то из зала.

– В конце статьи он пишет, что труд наш не героический, а какой-то сизифов – продолжал греметь Демьян Федорович. – Но вот вчера пришла бумага из райкома партии: просят принять меры по его статье, где он пишет, что забор возле двухэтажного дома сломан. О сизифе пока ни слова.

– По пьянке мужики забор сломали! – снова загалдел зал.

– В том доме брат его живёт, Володька. Путь он и ремонтирует забор, чтобы Витьке неповадно было писать...

Долго длилось собрание. Потом Анна Васильевна зачитала решение, где были слова: «Поручить отремонтировать забор вокруг двухэтажного дома по улице Школьная-7 Владимиру А-му в срок до 7 ноября 1982 года»

Проголосовали единогласно.

Кэгэбэшник

Виктор Павлович даже не знал, кто это такие – СОЭ. Расшифровал кэгэбэшник – социально-опасный элемент. Однажды Виктор Павлович рассказал нам и о таком неудобстве жизни.

Как говорится, урок всем нам и одновременно память о прошлом веке.

– Социально-опасным могли представить любого, кто не угоден власти. По умолчанию, в России несчастен тот, кто честен и обладает чувством справедливости. Одним словом – дурак. При этом всегда знали кто несознательный дурак, а кто – сознательный. Сознательный, естественно, опасен. Вот они и были на учёте в органах госбезопасности. Многие даже не знали и не могли знать об этом. А некоторые, наверное, и до сих пор не знают.

Как узнал я? Из-за характера.

1 декабря 1980 года я впервые попал в замечательный национальный округ. Там в двух районах создавали новые редакции. И мой знакомый редактор пригласил меня: надо было одновременно строить целый комплекс, набирать полиграфистов, журналистов, обучать всех и самим учиться.

Первое, что я заметил: в семьях чиновников с повышен-

ным вниманием говорят о постановлениях партии и правительства, вообще – о партийных вождях, партшколах, кадрах. Ещё одна особенность: в любом случае не забывают подчеркнуть об особой одаренности своих детей. «Кажется, наша внучка гениальная! Как гениально выступил наш сын. Ваш племянник обладает особым даром!» Неужели думают, что будут руководить страной?

Рождённый и выросший среди людей ничем не примечательных районов, я совершенно растерялся в такой обстановке. Но был замечен и даже отмечен повышенным вниманием тамошнего общества. Особенно, партийной номенклатуры. Очень уже полюбили партийные товарищи со мной выпить и поговорить на разные темы.

Событие случилось в 1981 году.

В те годы застолья и драки были заурядным явлением. Однажды толпа «гениальных» ребят округа, среди которых оказался и я, чрезмерно загуляла в районной столовой, туда же нагрянули тоже подгулявшие милиционеры. После недолгого выяснения «кто кого гениальнее» получился мордобойчик. Победила сила власти, как и должно быть.

В итоге все оказались в камере предварительного заключения местного отделения милиции. И вот я сижу на нарах, как король на именинах и для того, чтобы изменить противное состояния сознания, усиленно пытаюсь притянуть к данному событию стихотворение Пастернака «Когда разгуляется». В общем, не жизнь, а сплошная песня.

Смотрю, утром всех моих «подельников» вызывают к начальнику милиции. Они после этого не возвращаются в камеру, исчезают бесследно. Рядовые хулиганы, находившиеся тут же в камере, объяснили мне, что раз мои собутыльники «гениальные», то родители их знакомы со всеми начальниками, а начальник милиции, пострадав, отпускает их по домам. Сколько же раз мне повторять про себя «Когда разгуляется»? Эти же хулиганы подсказали, что со мной будет «особый разговор», ибо я «не гениальный» и даже не местный.

Паршивое состояние усилилось и уже не думает меня покидать.

И вдруг выкрикивают мою фамилию. Но ведут мимо кабинета начальника. Наручники сняли. Дальше – хуже: ведут в другое здание, через улицу. Снова длинный коридор. Заводят в кабинет, где сидит, довольно крупный, человек в гражданском костюме и очках. Он приветливо улыбается, приглашает садиться и вежливо представляется:

– Начальник районного отделения комитета государственной безопасности СССР подполковник Н-ский.

И тут же налил из графина стакан воды, видя, что состояние мое не намерено улучшаться. Объяснил тем, что давно мечтал побеседовать со мной, а тут, как раз, случай представился. Всё сошлось...

Начался разговор, вернее монолог. Подполковник оказался очень интересным собеседником. Попутно объяснил мне,

чего не должен был объяснять (не положено), а именно: с 1978 года я нахожусь под пристальным вниманием органов госбезопасности. Разъяснил, кто такие СОЭ. Чем грозит статья 70 УК РСФСР – антисоветская пропаганда и агитация: от двух до пяти лет. Чем опасна статья 64 УК РСФСР – измена Родине: от десяти до пятнадцати лет, расстрел. В этом месте он снова предложил стакан воды. Состояние моё было не только паршивым, а совершенно обезвоженным.

Но... Человек взглянул на меня из-под очков и почти дружелюбно сообщил, что мой редактор, а также районный комитет партии настоятельно просят органы госбезопасности оставить меня в районе для продолжения деятельности по созданию редакции газеты, как исключительно ценного кад-ра.

Ещё один стакан воды. На этот раз я выпил залпом.

– Они надеются на Вас! – Почти торжественно сказал он, блеснув очками.

И далее доверительно завершил, что, исходя, из вышеизложенной ситуации, подполковник надеется на мое понимание и взаимную дружбу с ним.

Что интересно: он не предлагал мне стать сексотом. Он, действительно, желал мне добра, интересовался литературой, не употреблял слова «одаренный», «гениальный» и даже близкие к ним.

– Поменьше встречайтесь с декабристами, – посоветовал он мне.

– С какими декабристами? – сипло поинтересовался я, снова поглядывая на стакан воды.

– Вы же выпиваете иногда с кочегарами Леонтьевым и Струнским. А они высланы сюда из Ленинграда в прошлом году. Очень начитанные и умные люди. Вы же им передали книгу Высоцкого «Нерв», который в конце июля пришёл по квоте вашему редактору, а он за ненадобностью, отдал её вам. Вы уже полгода мусолите бедного Высоцкого в кочегарке райкома партии...

Неожиданно он улыбнулся и доверительно сказал, положив свою тяжёлую руку мне на плечо:

– Кстати, вы, а также Леонтьев и Струнский, – очень умные и честные люди. Не принижайте себя. Надо же хотя бы иногда чувствовать себе цену.

Сосланные ленинградцы были кандидатами или даже докторами каких-то наук. Познакомился я ними на почве любви к поэзии. Мы чувствовали потребность в общении друг с другом, но почему-то избегали общества, где, на наш взгляд, были настоящие хозяева жизни. Зачем хозяевам поэзия и уходить в какую-то внутреннюю эмиграцию, когда им доступно всё? По сравнению с ними мы были изгоями и бездельниками. Трудно было скрыть чувство вины.

Подполковник это заметил и ободрял меня.

После этого разговора мы распрощались.

7 ноября, не помню какого года, я застал его в пустынном

райкоме партии, он наблюдал из окна второго этажа за марширующей колонной райцентра и что-то записывал в блокнот.

– 17 антисоветчиков, – объявил он, увидев мой недоумённый взгляд. – Игнорируют общий настрой, призывы и трибуны, кажется, выпившие.

В 1992 году он открыл магазинчик и торговал спиртным. Когда его машину остановили первые в наших краях бандиты, он вышел на дорогу и, достав пистолет, спокойно прострелил колеса бандитской тачки. Бандиты убежали. Говорили, что после этого случая он приобрёл ротный пулемёт Калашникова.

Позже он передал свои магазины племянникам. Его дом и сейчас окружает кирпичная ограда, поверх которой протянута колючая проволока.

Иногда я вижу его. Он ещё подтянут, по-прежнему приветлив и вежлив.

Вилы

Давно это было. Много и много лет тому назад. Но почему-то сегодня вспомнилось. Чётко, в мельчайших деталях.

Нас, деревенских ребятишек, отправляли на сенокос. На всё лето. Лагерьей детских мы не знали. Весь наш каторжный край был в лагерях для взрослых. Одежда всех в лагере и вне лагеря – кирзовые сапоги, бушлаты и телогрейки. Большие и маленькие. Зимой – застёгнутые, летом – нараспашку. Сенокос – дело добровольное, никакое не рабство. Так укоренилось, так было положено, да и хорошо на сенокосе. Все друзья в куче. Воля.

В то лето мне ещё семи не было. Взрослый. Брату Володя лет десять. Он всегда был тихий, послушный, а я – дерзкий и вредный. Так говорили. И сейчас припоминают. Да и есть за что. Зону пророчили. А я с малолетства ненавидел всё уголовное и блатное, но всё вокруг было только таким...

Бригада наша стояла недалеко от маленькой степной речушки. Нас, ребятишек, было, наверное, человек пятнадцать. От шестилеток до подростков. Дружно жили. С утра до вечера – сенокос. Волокуши, грабли, косилка. Всё на конной тяге. Взрослые ставят зароды. Солнце печёт. А мы смотрим на небо – будет ли дождь? Чаше – в сторону бригадного

стана. Не готов ли обед? В дождливые дни отдыхаем, балуемся. Иногда ворует махорку у взрослых и курим втихаря в оврагах и ямах старых барсучьих нор.

У меня ещё одна забота – брат. Мне всё время кажется, что нас или его, чаще его, обижают, задирают. При первом признаке недоброжелательства я кидаюсь врукопашную. Все удивляются и посмеиваются: младший опекает старшего. А я всю нашу семью опекаю.

Первым подбегаю к бригадному котлу, первым хватаю две миски, беру сразу себе и Володе. Вечером достаю из рюкзака сложенное мамой бельё и хожу с трусами за Володей, уговариваю сменить. Он смущается и нехотя отмахивается от меня.

Был среди нас смуглый до черноты, цыгановатый Лёшка. Пацан лет двенадцати. Хулиган из хулиганов. Только фразериться начинал, уважал всё блатное, уже пытался мазу держать. Даже походочкой показывал свою приблатнённость. В нашем каторжном краю это было нормой и даже шиком.

В один из дождливых дней во время обеда Лёшка, получив свою миску с кулешом, наткнулся на неожиданно вышедшего из балагана Володю. Миска полетела на землю... Вся ребятня притихла, предвкушая спектакль.

– Ах ты цуцик! – вскричал Лёшка, растопырив пальцы и надвигаясь на съездившегося от испуга Володю.

– Убью, тварина! – закричал я и, мгновенно схватив ле-

жавшие у балагана вилы, ринулся на Лёшку.

На миг я увидел, как в глазах врага плеснулся ужас, отпрыгнув, он метнулся в степь, а я, шестилетний, с блестящими и острыми вилами наперевес побежал за ним по свежескошенной траве, задыхаясь от дикого гнева и ненависти, видя, как тумане, удаляющее пятно серой рубахи, пузырящееся на степном ветру.

Убежал он далеко. Меня догнали взрослые. Я кусался и дико вырывался из крепких рук мужиков и кричал, что обязательно убью Лёшку...

Кто-то увёз его в деревню. В бригаду он не вернулся. Меня успокаивала повариха, которую все звали Индира Ганди. Она гладила мою голову, успевая ругать взрослых. Испуганный Володя не отходил от меня.

Осенью я пошёл в первый класс. Лёшка учился в шестом. От него стонала школа. Ко мне и Володе он не приближался. Ушёл на зону сразу после десятого класса. Пырнул кого-то перочинником.

Через много лет, когда я жил в городе, он нашёл меня через земляков. После очередной отсидки на зоне. Худой, в потрепанном бушлате и лёгких ботинках, в сорокоградусный мороз, он пришёл ко мне вконец окоченевший. Мы долго сидели за столом, вспоминали нашу деревню, сенокос.

Утром он долго кряхтел в ванной, я бросил ему смену белья. Отнёс в мусорный контейнер его бушлат, ботинки. Дал

ему унты, полушубок, деньги. Проводил до вокзала. На прощанье мы обнялись. На миг пахнуло нашей деревней и далёким детством. Больше я его не видел. Говорили, что Лёшка уехал в Якутию к друзьям по зоне и сгинул где-то там...

У всех есть отцы. У него не было. Никто даже не думал, что у него может быть какой-то отец...

Китаец

– Китаец это зверь! Он всё кушает!

Сказав это, Денис делает большие глаза и задорно смеётся. Он большеглазый и толстогубый, весёлый и толстый китаец. Неплохо говорит на русском языке. В первый раз вижу такого.

– Почему ты Денис?

– Меня как большого китайского начальника зовут – Ден Сяо. А русские милиционеры сказали – Денис.

– Ты знаешь русских милиционеров?

– Их все китайцы знают. Русский милиционер лучше всех говорит китайское слово хучао! Как только увидит китайца, он сразу кричит – хучао!

– Что это?

– Ты не знаешь? Ты много-много китайских слов знаешь, а хучао не знаешь. Хучао – паспорт! Русскому милиционеру всегда нужен китайский паспорт.

– Зачем русскому милиционеру китайский паспорт?

– Ты что, дурак? Русский милиционер без китайского паспорта – бедный, бедный!

– Почему, Денис?

– Ну, ты совсем дурак! Китаец вместо паспорта даёт русскому милиционеру деньги.

Денис находится у меня третий день. Он, как бы, заложник. И даже знает, что он, как бы, заложник. Денис понимает это и ненавязчиво сочувствует мне, пытается как-то помочь: соблюдает этикет невольного невольника, не уходит далеко. Терпеливо ждёт своей участи, как и положено заложнику.

Мы живём с ним в маленькой закусочной на федеральной трассе, уходящей прямо на МАПП – многосторонний автомобильный пункт перехода, который впускает в Китай. Оказывается, так просто переводится слово, а раньше я придавал ему слишком большой вес – международный автомобильный пограничный переход. Правильно читать научил меня Денис. Он уже пятнадцать лет шастает из Китая в Россию и обратно.

– Ты где бывал в Денис?

– В Китае или в России? Если в Китае, то только в своей провинции, это в АРВМ, да и то не везде был, из деревни я за Хайларом.

– АРВМ?

– Ну, ты совсем неграмотный! АРВМ – это не автомобиль, – Денис чуть напрягается и выдаёт расшифровку аббревиатуры, – автономный район Внутренняя Монголия. У меня дедушка – монгол. Вот почему я толстый, русские слова хорошо говорю.

– Так где ты был?

– По России? – Денис начинает загибать пальцы. – Чита,

Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Курган, Екатеринбург, Москва. Потом назад – Тайшет, Зима, Ачинск... Много был в России, лес возил, металл возил, сделки заключал.

Мы ждём, когда мой друг-предприниматель Толя получит на МАПП сорок китайцев, которых он нанимает для каких-то работ. В прошлом году его обманули: прибыли три представителя из Китая, пообещали шестьдесят рабочих, взяли в фирме Толи бланки для заполнения, деньги и уехали. Больше их, обещанных китайцев и своих денег Толя не видел.

Многих так кинули «представители», перевозящие рабочую силу через границу. Но случаются, видимо, и настоящие сделки, когда, как и положено, оформляются все документы, прибывают рабочие, посредники-представители получают свои доли и становятся постоянными поставщиками рабочей силы.

В этом году Толя снова связался с какой-то фирмой, но стал осторожным. Он попросил меня быть на его встрече с очередными тремя посредниками. Сунув муляж ТТ под рубаху, я отправился на «стрелку» с китайцами. Одним из них и был Денис. Китайцы брали его переводчиком. Пятнадцать лет в России – не шутка, в первую очередь, это язык.

Когда я сказал Толе, что одного китайца надо оставить в качестве заложника, а деньги отдать только при переходе всех сорока китайцев, то Денис сам предложил себя в каче-

стве заложника. Он засмеялся, быстро-быстро заговорил со своими, те тоже засмеялись, закивали головами.

– Они будут через три дня с рабочими! – сказал Денис. И совершенно серьёзно спросил меня. – Кормить будете? Вы тоже строитель?

Как ему сказать, что я литератор, а моя компания – не уголовники с муляжами и травматикой. У нас – скульпторы, художники, музыканты, литераторы. Мы – Союз искусств. В этом году я организовал заказ на создание архитектурно-скульптурного комплекса у самой границы. Поскольку жить в гостинице дорого, то мы купили эту маленькую закусную, где наши женщины кормят всех, кто завернёт к нам. Заодно продают книги, журналы, кроссворды. Случается, дорожные рабочие расплачиваются за обеды соляркой. Они сливают солярку в бочки, а наши продают её дальнотойщикам. Всюду суетится маленький гешефт.

На второй день своего невольничества Денис насобирав в степи у дороги разные травы и какие-то лопухи. Промыл и нашинковал всю зелень, попросил у наших девчат малюсенький кусочек мяса, растительное масло и приготовил потрясающее блюдо. Никто из нас даже не предполагал, что из придорожного сорняка может получиться такая вкуснотища.

– Давление упадёт, потенция поднимется! – Сказал Денис, предлагая нам ароматно пахнущее блюдо.

Наверное, такого вкуса мы никогда не ощущали. Теперь

женщины помогает ему готовить, заодно и учатся.

– В Китае будешь, ничего не ешь в ресторанах. Толстым станешь.

– Почему?

– Добавка. Много-много добавка сейчас в еде. Раньше не было. А сейчас одна добавка. Свинью знаешь, как кормят? Одна добавка, а не свинья!

– Свинарник на несколько этажей! Видел.

– Животное по земле должно ходить, а не на пятом этаже срать. Ты раньше жирных китайцев встречал? Раньше толстого китайца очень редко можно было увидеть. А сейчас они везде, дети – толстые, взрослые – толстые. Скоро все будем толстыми. Ничего не ешь в Китае!

– Голодать что ли?

– В бурятских ресторанах нет добавки. Но и там скоро будет. В России пока всё чистое. А у нас вода – химия, земля – химия. Кругом добавка!

– Что-то ты совсем Китай не любишь.

– Женщина что ли Китай? Природа должна быть чистой. Китай хороший, лучший в мире! Я плохо говорю, чтобы в Китае хорошо было. Чистый Китай – хороший Китай. Надо плохо говорить, чтобы хорошо было.

Спит он в закуской, на надувном матрасе. Солнце только показалось над дальней сопкой, Денис уже на ногах. Взяв старое ведро, ходит вокруг закуской и собирает окурки,

спички, какие-то пробки – весь чужой мусор. Его мусора тут нет...

Выхожу из своей «спальни», устроенной в салоне «Noah». Денис что-то шинкует на кухне, потом возится с тестом, мнёт, подкидывает, вьёт из теста замысловатую верёвку. Он непрерывно в деле. Ни минуты не проводит впустую.

– И часто русский милиционер просил твой паспорт?

– В первые годы, как только увидит. Сейчас редко.

– Разбогател, наверное, – смеюсь я.

– Конечно, богатый. Он же не только хучао просил, но и продавал. Себя продавал. Ваши люди в формах всё продают. В нашей провинции многие ходили в одежде русских военных. Шинель была почти у каждого китайца.

– У тебя была?

– Конечно. Милицейская шинель и солдатская гимнастёрка, три полосы на погонах. Сержант, да? Мой сосед, хороший огородник, ходил в шинели с полковничьими погонами. Работал на поле в шинели.

– Три большие звезды?

– Да, да, три большие и желтые звезды. И папаха ещё! Один из наших ходил в кителе, которая была, как рыба чешуя – медали, ордена, значки... Молодёжь наша не знает об этом. В смокингах хотят работать!

Да, чувствуется, что китайцы скоро будут на своих полях в смокингах.

Кухня и зал закусочной постепенно наполняются такими вкусными и плотными запахами, что хочется есть немедленно и много. Вместе с запахами начинает просыпаться и весь наш лагерь. Степь, дальние сопки, трасса, травы, редкие кустарники, развалины маленькой станции неподалёку – всё оживает, преобразуется, наполняется запахами, разноцветьем, звуками. Высоко-высоко в синем небе заливается невидимый жаворонок.

В полдень подъехали со стороны МАПП два автобуса. Привезли китайских рабочих в сопровождении джипа, в котором говорили о своих делах, одновременно считая деньги, довольные Толя и посредники.

Это означало, что Денис свободен.

– Китаец честный. Говорить плохо надо, не надо думать плохо! – Сказал он, садясь в машину. И широко улыбнулся. – Хучао. Есть хучао!

Он уехал. Стало уныло и скучно...

Было это в 2008 году. С тех пор миновало десять лет.

Где ты сейчас Денис? «Надо плохо говорить, чтобы хорошо было». Когда поймём?

Монгол из Маньчжурии. Или «Далеко пошёл!»

Всё чаще и чаще в мире упоминают Маньчжурию, эту визитную карточку Китая на российско-китайской границе. Но почему-то забывают, что Маньчжурия находится на территории Автономного района Внутренняя Монголия, который занимает площадь 1 миллион 181 тысячу 104 квадратных километров. Это огромная территория, на которой могут поместиться несколько европейских государств. Население этого «района» почти 25 миллионов человек.

Именно в этом районе смешаны и сосредоточены многочисленные племена разных национальностей, которые относятся к монгольским народам. Естественно, многие из них приезжают в Маньчжурию, а часть из них остаётся там жить.

Мой друг, коренной житель Внутренней Монголии, ныне живущий в Маньчжурии, рассказывал мне такие подробности из своей жизни, что все наши российские трудности, о которых мы постоянно говорим, просто померкли и исчезли из моего сознания.

Зовут моего друга Мэргэн, что переводится с монгольского как Меткий. Это имя воина. На китайский лад его называли Чи Минжи, что, видимо, является переводом с монголь-

ского языка.

Вот краткий, наспех записанный, рассказ Мэргэна.

– Вы, жители России, даже представить не можете нашу жизнь. Мы жили в полупустыне, недалеко от Улан-Хото, пасли немного скота, засевали клочок земли пшеном. Если у нас человек не будет работать, то просто умрёт от голода. Никаких перспектив!

В 12 лет, полуголодный, в лохмотьях, не зная ни одного китайского слова, я добрался до Маньчжурии, где стал таскать на рынке всё, что мне ни предложат. Работал день и ночь за похлёбку и чашку риса. Тогда время было трудное, начались перемены. У вас это называется «перестройка». Ночевал и питался, где придётся. Как собака. Многие так жили, может быть, и сейчас живут. Это же Китай...

Через два года я приобрёл старую тележку. Стало легче. Таскал уже больше вещей и продуктов, получал больше еды, а иногда и юаней. На человека стал походить.

К тому времени я уже свободно говорил на китайском языке, читал все вывески. Человек должен всегда учиться. Перестал учиться – сразу стал дураком без никаких перспектив. Жизнь – это всегда перспективы.

Тогда менялся я, менялась вокруг меня и жизнь. Стали говорить о России... В семнадцать лет я уже прилично зарабатывал. Сразу стал копить деньги. Много уже умел делать: строить, проводить электричество, штукатурировать, ездить на

машине, тракторе. Учился жить. Непрерывно. Стал членом кооператива, потом мы сами с такими же, как я, ребятами организовали кооператив.

В 19 лет я купил свою первую машину. Это был старый-престарый русский «камаз». Полгода я его ремонтировал, отмывал, вылизывал каждую гаечку. И вот в 1995 году, купив картофель, впервые отправился в Россию. Один. У меня были китайские права, ещё какие-то документы. Как я проехал через пограничный пункт? Сам до сих пор удивляюсь. Я сделал шесть попыток прорваться вглубь Забайкалья, но каждый раз меня задерживали в Борзе русские милиционеры и отправляли обратно.

На седьмой раз я понял, что их надо объезжать. Так я узнал много дорог. Ваш и другие районы, вашу деревню, реки, горы, просёлочные дороги и трассы. Читу, Улан-Удэ, а дальше – Россию. Научился говорить по-русски. Поначалу все броды через реки я проверял сам, брал палку и шёл в воду, измерял глубину, ломал лёд... Много было таких, как я, китайцев.

За эти годы я выслушал столько русских ругательств, но ни одну не могу выговорить вслух. До сих пор. Это какие-то дикие и страшные слова о матери и отце, человеческих органах.

Но ведь мне тоже надо было ругаться. И когда я приходил в ярость, то вместо: «Иди нах...», показывал пальцем вдаль

и громко кричал: «Далеко пошёл!» Тут всё-таки нет грязных слов о матери. И отправляю человека просто далеко, а не на половой орган.

Вот уже двадцать пять лет я живу в Маньчжурии, занимаюсь бизнесом, связан через интернет со всем миром. Говорю на четырёх языках. Жена моя, Ли Пин, китаянка, у нас замечательная дочь, отличница, специализация – бизнес и английский язык. Бизнес мой – в интернете. Жизнь прекрасна! Но случается иногда, что я вынужден кричать и показывать пальцем и говорить: «Далеко пошёл!». А потом я долго смеюсь, вспоминая свою историю...

Много раз я общался с Мэргэном и много раз сравнивал его с нашими людьми, с такими же бурят-монголами из разных регионов России и Внешней Монголии. И приходил к мысли, что все мы, люди нашей страны, находимся – далеко, далеко от Мэргэна...

Давно я не был в Маньчжурии, давно не разговаривал с Мэргэном. Но знаю – за такими людьми будущее. Ведь они никогда не знали понятия «халява» и не съели ни одного не заработанного куска хлеба, а потому они не будут впустую балаболить и презирать, не понимая, весь мир.

Ведь это их мир!

Розовые варежки

Раньше был лозунг: «Всем классом на ферму!» А сейчас? «Всем классом в Союз писателей?» У кого и какие достижения? Сколько лайков и комментов? При таких словах, извините меня, я слышу радостное повизгивание вместе с залихватистым лаем. Пудель почему-то возникает...

Сегодня у нас гостит женщина с ребёнком. Из города. Мать – Анна, девочка – Карина. Ей пять лет. Она никогда не видела корову, лошадь, куриц.

В немом восторге, бледненькая, аж прожилки видны, она стоит, радостная, у курятника и не может оторвать глаз от роскошного петуха, который косит на неё бусинками подозрительных глаз. Потом Карина мчится в хлев и замирает при виде телёнка.

– Пойдём к соседям, Карина! – Зову я, – там у них овцы есть.

– А что такое овцы?

– Животные. Шерсть на них растёт.

– Шерсть? На них растёт шерсть? Вот такая? – Карина показывает свои розовые варежки. Глаза и рот девочки открыты от изумления.

– Ну не такая. Шерсть вырастет и может стать такой. Её ещё надо остричь.

– В парикмахерской? Вы парикмахер? А шерсть прямо на глазах растёт?

Теперь большие глаза и раскрытый рот у меня. Ничего себе вопросы!

В такой же растерянности я был зимой, когда на встрече с читателями, юная особа, которая заявила, что она «перепишет» этого, как его... Пушкина, прервала моё выступление о родословной громкой фразой:

– А я думала, что родословная только у собак бывает.

И зевнула после этих слов. Хохот в зале подтвердил, что присутствующие думают также.

Я не знаю, что сказать Карине, как надо было ответить той юной особе, которая «перепишет» кого угодно и, наверное, даже саму себя.

Но почему-то я не сомневаюсь в том, что такие вопросы не зададут мне мои внуки? Они знают интернет, компьютер и разные гаджеты не хуже, а даже лучше, многих городских сверстников. Но они никогда не скажут, что «родословная бывает только у собак» или «шерсть растёт на глазах».

И не потому, что они растут в деревне и видят животных с малых лет. Они г е н е т и ч е с к и такие. У них такие знания в крови. Они будут делать и знать то, что делаю и знаю я без выучки и понуканий, а как элементарную необходимость. И я не буду попусту говорить с ними на разные темы...

Моральные устои или ценности потомственных животноводов другие чем у тех, кто никогда не имел и не ухаживал

за животными. Если животновод изменит этим устоям, то не будет у него и материальных благ. Выгода его напрямую связана с моралью. Он не будет есть сам, если голодны животные. Жизнь его чётко разделена на циклы жизнедеятельности животных, куда входят все виды и сроки ухода за ними. Машина может ждать, но живое существо не может ждать. Даже зная конечную цель содержания и ухода за животными, он без колебаний верит, что все живые существа составляют единый мир. Верит он и в то, что на Земле ничего нет выше труда, который и создал человека. Именно труд – единственное и достойное человека дело.

Как мне объяснить это Карине и другим детям?

Карина смотрит на меня. Ждёт...

Что ей сказать? В памяти моей всплывают лица прошедшего века. Стоп. Вот дядя Дашидондок Пурбуев. Наверное, последний Герой Социалистического Труда. Много лет его семейная бригада ухаживала за маточной отарой овец. (Какие незнакомые слова для горожан и современников!) Каждый год эти люди получали по 140, а иногда и по 150, ягнят от каждой сотни овцематок. На каждой из них вырастало четыре с половиной кг шерсти. Кому интересно, что они сдали государству больше 40 тысяч ягнят и больше 100 тонн (тонн!) шерсти?

В памяти слышится его голос:

– Вырос я без отца. Его, совсем неграмотного человека, посчитали врагом народа и арестовали в 1934 году. Навер-

ное, расстреляли...

Такие же показатели, а иногда и выше были у моего близкого родственника Цырендаши Цыдыпова, кавалера трёх орденов Трудовой Славы, который покинул мир живых в декабре 2016 года. Помню его рассказ о том, как он 10-летним мальчиком уезжал с матерью после войны в Ортуй из Новой Зари. Они так и не дождались с войны Тумурова Цыдыпова – мужа и отца. Тогда у них была всего одна овца. А потом их стало тысячи...

Никогда я не слышал от Цырендаши Цыдыпова ни одного плохого или пустого слова. Маленьким, я шустро взбирался на коня и скакал к рассыпавшимся у горы Бунхан овцам. И тетя Бутид, мать Цырендаши Цыдыпова, кричала мне вслед:
– Осторожнее!

Бабушка Бутид всё ещё стоит и машет вслед рукой мне, десятилетнему, скачущему на коне к отаре овец. Образ её и всех моих родственников, которые жили своим трудом, никогда не исчезнет из моей памяти. Кому сказать о величии человеческого труда?

Нет, не поймут. Даже говорить не буду этих слов не только Карине, но и остальным детям, а также их мамам и папам. Пусть носят розовые варежки и остаются в неведении. Да им и не надо об этом знать.

– Где эти овцы? Будем смотреть как растёт шерсть? – Выводит меня из задумчивости Карина.

– Будем! Идём. Я покажу тебе.

В моей руке тёплая рука в розовой варежке.

Детям надо показывать природу, сельскую местность, реальную, не обусловленную проблемами, жизнь. Они должны познавать настоящий физический труд, единственное занятие, которое делает человека Человеком.

Дикий абрикос

(Цикл рассказов. Время – 1979 год.)

Парторг и старуха

Дикий абрикос растёт, наверное, только в таких местах, где степь веками превращается в пустыню, но никак не может превратиться, что-то удерживает её от полного исчезновения, может быть даже и этот дикий абрикос, буйно покрывающий пологие сопки с лысыми вершинами.

Может быть, студенты художественно-графического отделения Женя и Витя так никогда бы и не узнали об этом колючем кустарнике с кошмарно скрученными ветвями, если бы не приехали в эту деревню на калым, куда зазвал их однокурсник Коля, сын местного парторга.

По договору они должны оформить контору колхоза и нарисовать плакаты на жести: вождь, призывы съезда, планы колхоза, труженики. Об этом Коля договорился с отцом ещё голодной студенческой зимой, потом привёз договор, а сам летом укатил вместе со стройотрядом на сахалинскую путину.

Женя и Витя поехали на калым.

На автовокзале райцентра встретил их отец Коли, высокий и худощавый Василий Николаевич. Возле него поблёскивал зелёный «Москвич» с будкой, который в народе называли «воровкой».

Парторг привёз их в колхозную столовую. После щей и

котлет, сметаны и пахучих ломтей хлеба ребята повеселели и навсегда оценили выгоды деревенской жизни для студентов, переживших сибирскую зиму. В конторе Василий Николаевич велел знакомиться с обстановкой и, пообещав, что вечером покажет им жильё, уехал по своим делам.

Целый день ребята лазили по каменистой сопке, на которой рос дикий абрикос. Он будто расплзлся от лощины наверх и обрывался у самой вершины. Оттуда открывалась вся округа. Ребята осматривали шиферные крыши домов деревни, растянувшихся вдоль берегов крохотной речушки. Сразу за деревней белели несколько домов, огороженные зелёным забором. Парторг предупредил – там застава.

С вершины сопки была видна коричневая полоса границы, за заставой – ещё какие-то военные строения, видимо, пропускной пункт. Дальше – голубела и скрывалась в туманной дали монгольская степь. Оттуда тоненькой ниточкой, местами исчезая и извиваясь, проблескивала под солнцем речушка, разделяющая здесь надвое деревню.

На следующей сопке белел огромный шар и крутился локатор.

Вечером Василий Николаевич привёл их в низенькую и почерневшую от времени избушку, которая, и к месту, и в рифму, оседала в землю у самого берега речушки. Ограждение из потемневших жердей и такой же калиткой, конечно, было одного возраста с избушкой. «Две комнаты», – уверял

парторг.

На скамеечке сидела, опершись о клюку, сгорбленная старушка. Голова её была повязана старым клетчатым платком, несмотря на тёплый летний вечер. Сморщенное и смуглое лицо, просевшие впадины щёк, рта и живых, чёрных, глаз, маленькие и жилистые руки и кулачки, державшие клюку, сгорбленная спина – всё говорило о невесёлой советской судьбе колхозницы, жизнь которой скручена и выжата годами. Даже чёрная деревянная трубка, которую она держала во рту, казалась скрученной и так закалённой годами, что теперь уже ничто не могло сломать её, кроме естественной смерти.

Увидев людей, открывающих калитку, старуха оживилась и поднялась навстречу. Парторг, предостерегающе поднял руку:

– Сиди, сиди, Батуевна. Я вот к тебе женихов привёл, чтобы не скучно было. Приветить? Колхоз тебе пособит, как и всегда.

– Во второй комнате, Василич. Какие бравые ребята! – живо и обрадованно заговорила старуха. Голос был прокуренный и хриплый, но удивила она студентов чистым русским говором без акцента. – Чего пособлять-то? Всё вроде бы у меня есть. Сена бы только моему Серко.

– Будет, Батуевна, сено по осени, – заверил ободряюще парторг. – Знакомьтесь, ребята, располагайтесь...

«Речушка, избушка, старушка», – машинально отметил

про себя Витя, а Женя шепнул:

– Как в сказке о рыбаке и рыбке. Только старика с корытом не хватает.

Парторг ушёл. Старый-престарый желтый пёс даже не реагировал на посторонних, в заросшем травой и бурьяном огороде паслась серая лошадь. Над сопкой заалел закат, отражаясь в речной глади.

Ужинали во дворе, где белела маленькая кирпичная печурка и стояли грубо сколоченный столик и две скамейки.

– Буйлэсан называется наша деревня. С монгольского – дикий абрикос, русские зовут – буйлэски, – не спеша и попыхивая трубкой, говорила старуха. – Меня в деревне все Батуихой зовут. Чаюйте, ребятишки.

Она сняла с жестяной банки, в которой пропаривала байховый чай, старую рукавицу, налила себе в кружечку и, не разбавив кипятком, стала пить, время от времени дуя на чёрную пенящуюся заварку.

– Чифирь, – пояснила она, увидев изумлённые глаза студентов. – Я же, ребятишки, двадцать пять лет по острогам моталась.

– В лагерях что ли были? – придя в себя и уже заикаясь, спросил Женя.

– В их самых. Крут был рябой хозяин. Вот недалеко отсюда, за буйлэсками, меня и взяли пограничники, – объяснила старуха, прокашлявшись.

В груди её хрипело и булькало. Она набила трубку из ки-

сета, закурила и продолжала пить чифирь.

– Это в каком же году? – тоже заикаясь, спросил Витя...

Контра и бандитка

– Даже не скажу в каком году! Всё у меня, ребята, смешалось и кругами, – кашляя и отгоняя рукой дым, говорила старуха.

Глаза её оживились, она ласково смотрела на ребят, которые вскрыли банку консервов и теперь ели, накладывая сайру на пышный хлеб.

– Давно это было, когда в колхозы начали сгонять. Дура я была, противилась, – рассмеялась Батуиха и снова закашляла. Когда в груди старухи затих хрип, продолжила. – Ведь говорили, что женщины будут общими...

– Как это общими? – поперхнулся Женя.

Казалось, что его русый ёжик и вовсе стал рыжим. Смуглый Витя только хмыкнул.

– Ну, всем мужикам отдадут, – спокойно объяснила старуха. – Ничего такого не произошло. У нашей семьи было десяток коней, около тридцати коров, шесть верблюдов, да больше двухсот овец. Мы сами себе батраками были. Сейчас о батраках и не слышно даже. Люди лучше прежнего живут.

– А за что же вас в тюрьму посадили? – уже освоившись и не заикаясь, поинтересовался Женя.

– Бандитка я, – посмотрела на ребят Батуиха и хрипло засмеялась. – Слово такое есть, раньше часто его в газетах пи-

сали. Это которые против кого-то или из-за границы товары возят.

– Контра – слово? – Спросил Витя.

– Вот, вот. Контра я и бандитка! – даже как-то торжественно сказала старуха.

Женька снова чуть не поперхнулся хлебом.

– Контрабандистка? – Догадался вдруг Витя.

– Вот, вот. Она самая я и есть. Контра и бандитка, осужденная Батуева Дарья Вампиловна, – подтвердила старуха. – Когда я была молодой, почти все были контрами. Ничего не понимали.

На деревню опустились сумерки, в печурке потрескивали дрова, на плите позванивал крышкой чайник. В огороде белела пятном лошадь. У ног старухи дремал желтый пёс. Жизнь становилась настолько интересной, что ребятам начинало казаться будто они здесь были всегда, а город с его голодной студенческой зимой только на миг показался и растаял, как льдинка, в этой теплой деревенской ночи.

Контра и бандитка Дарья Вампиловна достала щипцами из печурки уголёк и снова раскурила свою чёрную трубку. Почему-то с каждой новой и таинственной картиной, которые открывались в её словах, она становилась всё роднее и ближе.

– В острогах меня по-разному звали. Когда контрой, когда бандиткой, а когда и Безухой, – сказала она, раскуривая трубку. – Смеялись, когда я им ухо показывала.

С этими словами старуха развязала платок и повернулась боком так, чтобы пламя печурки осветило её голову. Вместо уха у Дарьи Вампиловны был маленький свернувшийся комочек.

– Ничего себе! – Ахнул Женька, доливая себе в кружку чай.

Старуха снова закутала голову в платок и рассмеялась.

– Пограничник, такой же сорванец, как и вы, прострелил.

– Он специально целился в ваше ухо? – спросил любопытный Витька, придвигаясь к ней и сожалея, что не успел разглядеть ухо.

– Когда ему было целиться, я же при конях была. Проволоки на границе тогда не было. – Раскрыла ещё одну картину старуха. – Один конь заводной, с товаром, к седлу первого привязан. На нём четыре швейные машинки были нагружены. А я – на первом. Хороший был конь! Только выскочила из буйлэсек и рванула через границу, а наряд – тут, как тут. Так сорванец этот закон нарушил: я уже на другой стороне была, а он с колена выстрелил. Но кому докажешь? Жгнуло меня слева, кони шарахнулись, но я удержалась. Ускакала тогда! На заставах меня потом прозвали Безухой. Только через три года после этого случая поймали...

Старуха разговорилась и вся ушла в воспоминания. Онемевшая от одиночества и долгого молчания, она рассказывала и рассказывала ребятам о своей жизни.

– Так вы в диких абрикосах скрывались? – заинтересован-

но спросил Витька.

Женька уже сидел возле Дарьи Вампиловны и не сводил с неё глаз.

– В буйлэсках я пряталась. В лощине они густо растут! – мечтательно сказала старуха.

Сквозь дрёму

– В буйлэсках я пряталась. В лощине они густо растут! – мечтательно сказала старуха, уходя мысленно в далёкие времена.

Трубка погасла, она встрепенулась и, поскучнев, обронила:

– Спать пора, ребятишки. В избе комната племянницы, кровать большая, вдвоём поместитесь. Нечаев говорил, что вас рано надо будить.

– Какой Нечаев? – Удивлённо спросил Витька, ещё не успевший покинуть зыбкое пространство рассказа старухи.

– Ну, Васька Нечаев, начальник.

– Василий Николаевич, наверное, – сказал Женька, ероша свой ёжик. – И, правда, спать пора.

– Забудьте мои напасти, – сказала, поднимаясь со скамьи, старуха. – Сны у вас, ребятишки, хорошие нынче будут...

Дарья Вампиловна оказалась права: рыжему Женьке снился здоровенный мужик в белой рубахе, который шёл по влажной борозде, держась за чапыги плуга, впряженного в белую лошадь. От реки поднимались белые, клочковатые, туманы. Смуглый Витька видел, как он скачет на вороном по густому разнотравью степи, весь в казачьей одежде, на нём фуражка с жёлтым околышем, на штанах жёлтые же лампа-

сы, за спиной – кавалерийский карабин. И в Женькиной картине поднималось солнце, и Витька скакал навстречу поднимающемуся алому кругу на небе. И оба знали, что за рекой – чужая страна...

Проснулись ребята от того, что в глаза били солнечные лучи.

– Сами вскочили! – обрадованно сказал Батуиха, снимая с плиты клокочущий чайник.

Серая лошадь, вся залитая солнечными лучами, паслась среди лопухов и лебеды, жёлтая собака дремала у крыльца, будто и не вставала даже.

– Чаюйте и дуйте в контору, – велела старуха.

– Рисовать охота! – признался по пути в контору Женька. – В училище лень было заниматься, а тут так и подмывает что-то нарисовать.

– Сон что ли видел? – Догадался Витька.

– Ага! А ты?

– Тоже...

Отовсюду, стекаясь к большой улице и поднимая пыль, шли к речушке деревенские коровы. На склоне сопки серебрились большие цистерны, над сопкой поднималось солнце, заливая округу тёплым сиянием и дрёмой.

– Приготовил я вам тут разные рисунки, лозунги. Какой надо материал просите у завхоза, он здесь же, в конторе. Ну, художники, приступайте! – сказал Василий Николаевич

и укатил на «воровке» по своим делам, оставив ребят в просторном кабинете.

На стульях вдоль стены и на подоконниках лежали плакаты с гербами, изображениями Ленина, комбайнеров, чабанов, колосьев. Дальше в нескольких ящиках – молотки, рубанок, гвозди в банках, коробки с красками, картон, прямоугольные листы железа. У стены прислонённая вывеска – «Правление колхоза «Пограничник».

– Да он тут целую мастерскую организовал! – обрадовался Женька. – Богато здесь люди живут. Ты заметил?

– А как же! Лучше городских пролетариев. Но жильё-то нам, видимо, одна бабка согласилась выделить.

– Может быть, Николаич, так решил? – как бы оправдывая богатых колхозников, добродушно сказал Женька.

На обед их позвали в колхозную столовую. Снова явились как сравнение с разносолами студенческой зимы жирные щи, котлеты, картофельное пюре, сметана, молоко и ароматный хлеб.

– Спать хочу! – заявил после столовой Женька, веснушки на его белом лице поблекли.

– Давай-ка сколотим все щиты. Бруски нам нужны. И – ножовка, – заявил в ответ Витька, замеряя лист железа. – Набрасывай эскизы...

От ужина в столовой Витька отказался, Женьке пришлось согласиться с ним. К тому же у них было пол-ящика консервов, выданных Нечаевым. В избушку они пришли, когда пас-

тух гнал по пыльной улице стадо коров, а солнце освещало бока серебристых цистерн, с запада.

– В прошлом году Васька Нечаев какого-то профессора привозил. Худющий был, как сама смерть. Поначалу на сопку зигзагами поднимался и задыхался, а через три недели прямиком взбежал! – заметила бабка Батуиха, когда ребята сказали, что не пошли на ужин.

Витька деловито обошёл весь двор, позвал Женьку. Сунул ему в руки ржавые грабли, коих в сараюшке было штуки четыре.

– Дураки без дела сидят! – Заявил он, начиная убирать двор.

– Деревенских сразу видать! – Рассмеялась довольная Дарья Вампиловна.

Вечером уже привычно принялись чаевать.

– Ну и прятались вы тогда в буйлэсках. А зачем? – Спросил Женька, разрезая хлеб, выжидательно смотря на маленькую и смуглую старуха.

Она встрепенулась и охотно продолжила прерванный вчера рассказ:

– В падушке буйлэски густо растут. Товары я перевозила на конях в Монголию. Когда швейные машинки, когда лопаты, грабли, вилы, ножи, чайники. Много чего. Всё по хозяйству. Очень там ценили русские товары.

– И правда, разве что из Китая могли привозить, – заметил Витька.

– Вот-вот. В Китае тогда тоже туго было. – Вспоминала старуха. – Ботхулами нас звали местные. Вроде как несогласные, на своём стоят. Совсем не понимали, что не бывает всё время пурги или грозы. Всё затихает само собой, жизнь налаживается после любой бури. А мы не признавали новой жизни.

– Много таких было? – Настороженно спросил Женька.

– Дураков везде много, и все с оружием! – Рассмеялась контра и бандитка Дарья Вампиловна, раскуривая трубку. – И у меня был заваливающий наган. Товары из города доставляли. Однажды вздремнула я в лощине, сны какие-то вижу. И вдруг слышу сквозь дрему: «Безухая, кажется. Может быть, прикончим её здесь, а товары заберём?» Сжалось всё у меня внутри, даже сердце, кажется, остановилось. Но не шелохнулась, вроде бы продолжаю дремать. И вижу сквозь полуприкрытые веки...

Время не меняется

– Знакомые силуэты. Свои, кажется, люди. Голос вроде бы знакомый. Слышала я такой говор, немного шепелявый, будто передних зубов нет. Кто бы это мог быть? Неужели убьют. Чуть скосила голову, вроде бы во сне шевельнулась, и вижу сквозь полуприкрытые веки – Яшка Золотухин из соседней деревни. Чернявый и наглый. Он к моей двоюродной сестре Фроське сватался, но наши не отдали Фроську: варнак Яшка, ничего серьёзного...

– С оружием были? – подался вперёд Женька.

– Не мешай! Конечно, с оружием, – раздраженно сказал, Витька, подбрасывая сухой кизяк в печурку. Густой дым окутал стол и всех троих, потом медленно рассеялся.

– Комаров меньше будет, – одобрительно сказал Батуиха, привычно кашляя. – Второго я не узнала. У Яшки обрез был. Тогда оружия много было. У меня два коня привязаны к буйлэске, в самой гущине от глаз подальше. Если о товарах заговорили, значит, они видели их. На заводной-то с двух сторон две швейные машинки были, да ещё два сепаратора. В Монголии их шибко уважают, сепараторы...

Женька удивленно качнул головой: надо же, такие простые вещи, а цены их – чуть ли не жизнь человеческая. Витька слушал внимательно, будто видел картины тех далёких

лет и узнавал персонажи.

– Подай-ка мне уголёк, – попросила бабу Витьку. И когда тот подал ярко-красный в темноте уголёк, прихваченный щипцами, бабу прикурила свою трубку, пыхнула раза два и продолжила. – Они меня, поди, и убить могли, но в степи послышался топот, а мы чутко слышим. Яшка выглянул из оврага и увидел наряд пограничников, рысивший на конях не очень далеко от нас. Они тут же спрятались в гущине, а когда наряд скрылся за сопкой, сразу вывели своих коней и умчались из оврага. Тогда-то и я встала. Мне уже невтерпёж было, – хрипло рассмеялась Дарья Вампилов. – Надо было по малой нужде, а тут под дулом обреза. День клонился к вечеру, а ночью я и махнула на ту сторону.

– А этих потом видели? – Очень заинтересованно спросил Витька, думая о чём-то своём.

– Второго нет. Никогда больше не встречала. А Яшку, конечно, встречала. Он и сейчас живой, в райцентре живёт. На всех собраниях выступает. Время же не меняется. Люди меняются.

– И вы ему ничего не сказали! – Ахнул Женька. Казалось, что при свете от горящего в печурке кизяка его рыжие волосы стали совсем красными.

– Зачем? – Засмеялась Батуиха и вдруг насторожилась. – Лишнего я вам тут наболтала. Не вздумайте кому-нибудь проговориться. Тому же Нечаеву.

– Замётано! – Дал слово Витька и толкнул в бок Женьку.

– Верю! – Отозвалась бабка.

– А что потом было? – Нетерпеливо спросил Витька, жаждущий продолжения рассказа.

– Что? Да, ничего. Я жила месяцами в Монголии, часто переходила границу за товарами. Нас целая банда работала. Одни привозили, другие принимали, распределяли. В Монголии вдоль границы тоже наши жили, им я передавала товар. Муж у меня был в Монголии, настоящий монгол. Хороший человек, хорошая семья. Свои юрты, свой скот, своя жизнь. Двух детей я там родила. Сейчас, наверное, уже взрослые люди...

Ребята загрустили. Им казалось невероятным, что человек может иметь детей в другом государстве, не видеть их, только представлять.

– Давно это было... Когда я вернулась из своих острогов и ссылок, то видела Яшку, он был большим начальником в районе, в школах выступал. Красный партизан он что ли. Но их не было у нас. Может, где-то в другом месте? В общем, воевал за власть. Пенсию, наверное, большую получает. Детей много, внуков. А наших всех раскулачили и выслали. И Фроська умерла где-то в Красноярской тайге... Давно это было.

Где-то за селом звонко запели девчата. Бабка хрипло рассмеялась.

– Это они у речки собираются. Не вздумайте женихаться, вмиг охоту отобьют. Аккуратно надо, познакомиться с на-

шими варнаками, своими стать. А девки у нас красивые есть. Они сейчас погуляют немного и в буйлэски пойдут.

– В то место, где Вас чуть не убили? – спросил Витька.

– Может быть туда, а может и не туда. Там много мест. Пограничники к ним в самоволку приходят. Двое уже из заставы женились на наших и остались в деревне. Пограничники-то вроде бы как наши ребята.

В темноте раздался звонкий девичий смех, потом звучно и мелодично заиграла гармонь. Вдруг из-за туч выплыл яркий клинок месяца и озарил деревню тусклым серебряным мерцанием. Блеснула на речке и исчезла тонкая полоска. И снова ребятам показалось, что они жили здесь всегда. С бабушками, дедушками, родителями, а холодный и голодный город им только приснился.

Здесь и должен жить человек. Ходить за скотиной, пахать землю, косить сено, выращивать всё, что уродит земля. Читать книги и рисовать, если ему дано, а не дано – делать что-нибудь другое. И учиться, учиться сколько возможно учиться.

– Чаюйте, мужички! – громко сказала Дарья Вампиловна. – Птенчики вы ещё. Налетаетесь. Небось, в компанию с гармонью охота? Ладно, скажу я завтра своему племяшу, пусть принимает в команду.

– Да мы и сами можем принять! – дерзко сказал Витька, Женька больно ущипнул его за бок.

– Во-во, принимайте! – Рассмеялась Батуиха. – У нас

раньше шибко дралась молодёжь из-за девок. Спать пора, ребятишки. Утром на работу...

Утром серая лошадь бабки, прихрамывая, шла на речку и кивала головой ребятам, как своим, к речке же стекалось деревенское стадо коров. Почаевав, Витька с Женькой спешили в контору, на них с любопытством смотрели редкие прохожие.

Щиты были сколочены. Пора было рисовать.

– Знаешь, мне бабку охота нарисовать. В буйлэсках! – Неожиданно сказал по дороге Витька.

– Ничего себе! И мне ведь тоже охота её нарисовать! – Признался Женька. – Ещё бы лучше – на коне.

– Ты сначала коня научись рисовать! – Хмыкнул Витька.

– А ты научился?

– Я не только рисовать, но и ездить умею!

– Ты?

– С малых лет.

Так, споря, они дошли до конторы, где начали загрунтовывать приготовленные щиты.

Кто на кого похож

Витька сидел в тени козырька на бетонной ступеньке крыльца у входа в контору. Загрунтованные щиты уже высохли. Пора было что-то изображать. Он перебрал кучу всяких плакатных рисунков из разных «Агитаторов» и «Пропагандистов», но всюду преобладали красный и белый цвета. Одним словом, плакат. Спецовка на комбайнере – красная, рукавицы – тоже красные. Вроде бы профессионально, но всё рубленое, угластое, даже точечка значков – малюсеньким белым квадратиком.

Солнце пекло нещадно, село казалось побелевшим и выгоревшим вместе с тополями и штaketниками. Иногда в контору заходили и выходили оттуда люди. Витька бросал мимолетный взгляд, стараясь сохранить в памяти характерные черты.

Потом он прошёлся по селу, посидел у речки, где купались и визжали загорелые до черноты ребятишки. От огромных цистерн заправки за речкой отблёскивали солнечные лучи. Дрожала и блестела мелкая рябь на волнах речушки.

И в столовой, куда они отправились с Женькой, Витька всматривался в лица поварих и двух девчушек, которые им помогали.

– Ты чего пялишься? – Толкнул его локтем и прошипел

Женька, ломая пахучий ломоть хлеба.

– Да ничего я не пялюсь. Смотрю и всё!

– В тарелку смотри. Все девчата уже попрятались в селе!

– Да ладно тебе. Образ я ищу! – Примирительно сказал

Витька.

– В голове ищи! – Невнятно буркнул Женька, дожевывая хлеб.

После обеда забежал парторг. Витька бросил на него свой мимолетный, как ему казалось, запоминающий, взгляд художника, но Василий Николаевич насторожился.

– Что-то не так, Витя? – Парторг стал осматривать самого себя, провел рукой по пуговицам, застёжкам. Всё было на месте, застёгнуто, притянуто.

– Он образ ищет, Василий Николаевич! – Рассмеялся Женька, набрасывая кистью по карандашному рисунку на щите.

Его «образ» получался похожим на него самого – щекастым, пухлым, с рыжими вихрами.

– Образ? – Заинтересованно спросил Василий Николаевич и воскликнул. – Сейчас, ребята, я организую вам образ.

С этими словами он умчался из кабинета-мастерской.

– Ну вот, нагляделся! – Ехидно сказал Женька. – Теперь концерт, наверное, будем смотреть.

– Ты рисуй, рисуй. Твой образ, как опара, набухает, – подначил Витька, задумчиво водя карандашом по листу ватмана.

Солнце уже ушло с зенита и тени тополей удлиннились, белизна исчезла и снова проявились краски. В тёмно-зелёных распадках сопок мерцали сухим бело-розовым цветом кусты дикого абрикоса.

Ребята сидели на ступеньках под козырьком крыльца. Из-за переулка показалась целая ватага людей в праздничных одеждах. Назревало какое-то событие. Подтверждая догадку, появилась «воровка» парторга.

– Сейчас будет вам образ! – Торжественно сказал худощавый парторг, выходя из машины, держа в руке хозяйственную сумку, откуда выглядывали углы альбомов. – Проходите, проходите в мой кабинет. Не удивляйтесь беспорядку. Тут творческий процесс ребяташки затеяли.

Колхозники, смеясь и переговариваясь, зашли в кабинет-мастерскую, некоторые остались в коридоре.

– Нас будете рисовать? – Спросила бойкая пожилая женщина. Смуглая, черноволосая, черноглазая, она была в платье бело-розового цвета.

– Не только тебя, Варя, – сказал басом двухметровый мужик, похожий на Женьку и рассмеялся, показывая на работу Женьки, – Мой портрет почти готов. Ты где, парень, меня видел?

– В столовой. Позавчера, вы разговаривали с поварами.

– Это я воду привозил. – добродушно подтвердил мужик. – Глазастый!

– Так тебя, Генка, за версту видать, даже искать не надо! –

рассмеялись в толпе. – Добрынины все приметные.

– Смотри, Витя, знакомься, изучай! – Провозгласил парт-орг, показывая на земляков и положив на стол два альбома. – Вот тут история нашего села и колхоза. Много образов! Всю жизнь можно рисовать...

Через два дня после знакомства с колхозниками и альбомами ребята чаевали с бабой Дашей. Так теперь они называли бабу Батуиху или Дарью Вампиловну. Перед ней лежало множество набросков портретов на ватмане, которые теперь неустанно рисовал Витя карандашом, углем, сепией.

Баба Даша с тревожным вниманием вглядывалась в портреты, подолгу задерживаясь на каждом.

– Наши люди, наши, – вздыхала она. – Правильно Кашникова возле буйлэски нарисовал. А вот эта девка на меня похожа, молодую совсем! Чья же она будет?

– Ещё до острогов? – Осторожно спросил Витя.

Баба Даша рассмеялась, закашляла, сжимая в руку свою чёрную трубку. И, отгоняя сухонькой рукой, дым проговорила:

– Конечно, до острогов. Там-то я совсем не такая была. Безухая... Вечером расскажу. Чаюйте да бегите в контору. Работа не ждёт...

Кто я?

– Кто я? – Сказала в густеющий сумрак Дарья Вампиловна. – А кто знает, кто я? Говорили, тунгуска. А я уже забыла, кто так говорил. Много тут народа жило раньше. Всех и не перечислишь.

С вечера, пока было солнце, она разглядывала наброски, которые теперь постоянно делали Витька с Женькой.

Бабка Батуиха рассматривала портреты и прямо, и криво, то отдаляя от себя, то приближая. Ей казалось удивительным, что люди на фотографиях оставались на ватмане почти такими же, но в рисунке они как бы оживали, будили и тревожили память.

– Вот вы с карточек рисуете наших людей. Они и похожие, и не похожие. То деды их глянут, то отцы. А я ведь каждого из них помню.

– По национальности кто вы? – Осмелился Витька, прихлёбывая густой забеленный чай.

На него предупреждающе и выразительно глянул Женька. В огороде всё так же маячил серый контур лошади, желтая собака спала под скамейкой. На плите слабо пофыркивал чайник, в зеве летней печки малиновой рябью трепетали угли.

– Кто я? – Бабка затянулась и выпустила дым, опустив

сухую руку с трубкой. – Записана буряткой, бабушка у меня была русской, а люди говорят, что я хамниганка. В общем, монголка я! – Рассмеялась она и закашляла натужно. Отдышавшись, продолжила. – Тут почти все такие. Кто больше русский, кто – тунгус, кто ещё кто-то. Говорят, что мы раньше были даурами, а теперь один только бог знает – кто мы.

Она махнула рукой и снова засмеялась, давась сухим кашлем.

– И я, наверное, даур, – сказал чернявый Витька, как-то неуверенно поворачивая голову, будто хотел рассмотреть себя.

– Тогда, кто я? – Заинтересовался рыжий Женька.

– Русский ты! – Убедительно сказала бабка Батуиха.

– А мамка говорили, что у нас в роду были какие-то зыряне, то есть коми, а ещё – ороchonка. Батя мой хохол.

– Тут и хохлов хватает! – Встрепенулась Дарья Вампиловна. – После войны их много нагнали сюда. Я с ними и в остроге была. Много народа было в наших болотах.

– В каких болотах? – Спросил Витька, чутко внимавший каждому слову бабки.

– В сибирских. Ой, там болот видимо-невидимо, гнус человека заживо съедает. Облепит всего так, что живого места не останется. Проведешь рукой по телу, а рука вся красная от крови. Тюмень это. Мы с калмыками и другими монголами звали – тэмэн, верблюд значит. Как верблюды мы были, всё на нас грузили. А по-другому – тумэн, тьма. Несметно...

Дарья Вампиловна вся ушла в воспоминания и, говоря, покачивала, углубляясь во времена и оживляя лица знакомых, головой, повязанной платком. Трубка в её руке погасла и, казалось, вот-вот упадёт.

– Так вас на границе арестовали? – Разбудил её Женька.

– Да, да, на границе. Тогда много людей уходило за границу. Ничего не понимали. Я, конечно, контра и бандитка, товары возила. А ведь люди уходили семьями и со скотом. У меня четверо дядьёв и тётка уключевали. Ладно, они живыми остались. А сколько перестреляли!

– Перестреляли? – Витька так и застыл с кружкой в руке.

– Ночью это было. Контры и бандитов вдоль границы много было. Я тогда около Даурии промышляла. Там товар брала. По железной дороге человек привозил. В ночь я должна была переходить. Получила товар у знакомых, завьючила коней и – в путь. Уже темно было. После второй сопки конь мой забеспокоился, запрядал ушами. Я сразу в распадок, застреножила коней, пошла высматривать пешком. А там, в котловине, – тьма телег и скотины, народу много. Всё колышется и говорит. Поняла, наши собираются переходить в ночь. Думаю, пристроюсь ночью с ними и перейду.

– А не страшно было? – Неожиданно вступил в разговор Женька.

Витька тут же ткнул его в бок.

– Страшно, конечно. А когда не страшно? Думаю, раз собрались такой оравой, значит, знают дело, чисто значит. Ведь

не в первый раз здесь народ переходит. Много ушло! Перед самым рассветом они стронулись с места. Люди, телеги, бараны, коровы. Я в хвост пристроилась. Хорошо, что вперёд не заскочила. У самой границы с двух сторон пулемёты ударили! Коней моих сразу положили. Я спрыгнула и легла за ними. Господи, что было, что было... Всё грохочет, ревёт, плачет, стонет, мечется. Не знаю, кто успел прорваться. Обеспамятела я...

Бабка горестно замолчала, потом взяла щипцами уголёк и снова раскурила трубку.

– Солнце из-за сопки показалось, и я выглянула из-за своих коней. Всюду валялись в траве перевёрнутые телеги, убитые кони, коровы, бараны, люди. Недалеко от меня паслась лошадь, с привязанной к седлу девчушкой. Она хотела отвязать ноги, завязанные под брюхом лошади сыромятью. Солнце поднялось и осветило всю долину и молча плачущую девчушку. Я была смелой девкой, подошла к лошади. Подпустила лошадь, далась в руки. Перерезала ножом сыромять. Девчушка тут же упала в траву и не сразу могла встать. Я подняла её и сразу увидела солдат.

– Пограничников? – Переспросил Витька.

– Конечно, пограничников. Не понятно, что ли! – Буркнул Женька.

– Они шли цепью, – продолжала Батуиха. – Штыками проверяли людей, животных. Живые или нет? Собирали телеги, ловили лошадей, сгоняли в гурты скот... Долго расска-

зывать. В общем, собрали всех живых и раненых на заставе. Мужиков – направо, женщин – налево. Куда мужиков увели, не знаю, а нас вывели за ворота и отпустили. Идите, куда хотите. Вот и побрела я с той девчушкой по степи. Не арестовали в тот раз, не угадали, что я контра и бандитка...

– Контрабандистка, – робко поправил Женька.

– А я как говорю? – Удивилась бабка, вынув изо рта свою потухшую трубку.

(Цикл не окончен и ждёт продолжения).

Владыки умов

Политическая конкуренция и разумная промышленная политика – единственные условия, могущие реально изменить жизнь среды, в которой кормятся все, кто увеличивает бардак во славу действующего режима, то есть всячески препятствуя изменениям. Так создаётся дурная бесконечность.

Преступая дурную бесконечность, в поисках идей разумной промышленной политики, натываюсь на умища, извергающие глыбы на все вкусы в среду своего обитания. Как и в молодые годы, интересуюсь всем преступным и враждебным, ибо своё известно и видимо. Но чувствую, что постоянно нарываюсь на внедрённых штирлицев удивительно разных мастей. Смотрю топовые каналы ютуб, всех неистовствующих вдудь, штернов, камикадзе. Надрывается канал «Дождь», слушаю всякие среды, четверги, пятницы, паноптикумы, «Эхо Москвы». Расшифровываю коды доступа, аналитические изыски, читаю животворящие ЖЖ, «слонов», «снобов», хлёсткие статьи, язвительные реплики...

Всюду смех над всеми и презрение ко всем. Очень умно...

Все говорят об одном человеке и одной стране – нашей, безнадежно усиливая первого и целеустремлённо обрушая вторую.

Везде вещают лысые и волосатые, гривастые и очка-

стые умища. У каждого из них не меньше 100 тысяч просмотров. Все наимудрейшие, наиопытнейшие, едкие, пронизательные, пророчествующие, презирающие. Возвышаются над всеми кочками.

В общем, нажравшиеся и нажиравшиеся от пуза во все времена из корыта существующей системы. Историки, аналитики, публицисты, заказывающие немислимые по ценам наряды собственного дизайна. Каждый из них зачем-то стремится блеснуть на ничтожных постановках режимного ТВ, связанных с барьерами, кренящихся по замыслу Соловьёва. Каждый из них рвётся в топы, охотится за тысячами «лайков» и просмотров на каналах ютуба и в социальных сетях.

Глыбы ума против скрепов одного карлика, так они называют своего «противника». И – ни фиги! Ноль! Ничего! Всё как в унитаз. Без шума, естественно, будто и не было. Но результат всегда один – мозги всмятку и набекрень. Умища после этого похожи на обыкновенных лающих и вечно недовольных стариков и старух.

Кто это? Отряды Путина наоборот? Жалкие маразматики, восполняющие энергию с чьих-то рук, при этом называющие ближних быдлом? Современники, презирающие свой народ, жителей сёл и городов, считающие их умственно отсталыми, говорящие о них не иначе, как о безмозглых животных, оперируя трудами Павлова и Сеченова, Менделя и Фрейда, обращаясь к всем наукам, чаще к естественным, особо выделяя квантовую физику?

Чем меньше частицы, тем больше они сами. Такая физика...

Голубая кровь с банальной красной соплей, которая брызгала под розгами бар на конюшнях, на полях бессмысленных войн, в бандитских разборках и горячих точках? И вот эта сопля, то есть авторы этих извержений глыб пытаются сломать тоненькие скрепы режима без всякой идеологической и партийной конкуренции, одновременно смеясь над майданами и разработками разумной промышленной политики, кормясь за счёт омерзения к среде, в которой сами и живут? Но скрепы только крепнут.

Не шаловливая ли «рука Москвы» понатыкала повсюду эти человечиха, выдающие глыбы, исчезающие бесшумно в унитазах времени без никаких последствий? Кто говорил о финансировании из-за рубежа и пятой колонне? А какое нынче финансирование в нашем дворе, кого финансируют здесь? Кому выгодны эти топы? Логика подсказывает, что касса этих умищ должна находиться в конторе администрации президента или правящей партии. Такое «брожение умов» выгодно только САМОМУ.

Что по-настоящему опасно для режима? Только настоящая политическая конкуренция и разумная промышленная политика, которая возможна при здравомыслящем населении. Такое население – главная угроза существованию воров и грабителей всех мастей.

Естественно, режиму выгодны непрерывное создание на

пространстве страны бардака разными владыками умов и извергаемые ими глыбы на все вкусы. Они и должны быть в топах альтернативных средств массовой информации, а в остальных – владычествуем сам режим.

При такой свободе и таком брожении умов он непоколебим и никакая политическая конкуренция невозможна, разумная промышленная политика – тем более...

Об авторе:

Родился в 1954 году у самой монгольской границы Забайкалья.

Утвердившееся общепринятое и литературное имя – Виктор Борисович Балдоржиев. После прощания с эпохой, с 2010 года, часто выступает под именем Виктор Азаровский. Настоящее имя Балдоржиев Цырен-Ханда.

Член Союза Журналистов СССР, член Союза писателей России, член Международной ассоциации блогеров, автор 15 книг и многих материалов в периодике. Активно участвует в работе социальных сетей, блогер, ставящий целью – результат.

В 2008 году Указом Президента РФ награждён медалью А. С. Пушкина.